

А.в.Суворов  
БОЛЬШАЯ СКАЗКА"

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В условиях слепоглухонемоты воображение, как и все остальные человеческие способности, часто оказывается глубоко недоразвито. Проявляется это всего очевиднее в ситуативности, узкой специализированности воображения. Это значит, что воображения хватает специально и только на те частности, которыми ребёнку посчастливилось овладеть. Как фрагментарны, отрывочны отдельные навыки слепоглухонемого ребёнка, так фрагментарно, отрывочно и его воображение.

Воображение, как процесс - это созидание образов окружающего мира и себя в мире. Иначе говоря, это чувственно-образная ориентировка в мире. Ещё иначе говоря, это чувственно-образное осознание, прояснение того, куда ты попал при рождении, кто ты сам такой, и как тебе жить, как быть, покуда ты существуешь. Словом, воображение - это миро-и самосознание в плане образа, воплощение "во-образ" впечатлений от мира и от себя, от своего взаимодействия с миром, в том числе от уже готовых, заданных в художественной, например, культуре образов.

Образ же - это и есть обобщённые твои впечатления от взаимодействия с миром, первая и основная, фундаментальная форма твоего знания о мире и себе.

Характер воображения как формы сознания зависит от того, что именно "превращается", воплощается "во-образ" (Э.В.Ильенков). Качество же впечатлений зависит от качества взаимодействия, от складывающихся в процессе этого взаимодействия отношений с миром людей и их истории, воплощённой в культуре и анти-культуре (то есть во всём, что создано или применяется человеком ДЛЯ человека, - это культура; и во всём, что создано или применяется человеком ПРОТИВ человека, - это анти-культура).

Взаимодействие с людьми и их историей носит фрагментарный, отрывочный характер, когда "на выходе" мы имеем грудку отдельных, как бы "самостоятельных" навыков, связанных между собой разве только тем, что все они, как ракушки на днище корабля, налипли на одного "субъекта". Отдельно - навыки обращения с ложкой, тарелкой, водосмесителем, мылом, полотенцем, одеждой, ну и прочие навыки самообслуживания. Отдельно - несложные производственные навыки (в Загорском детском доме, когда я там учился, это было главным образом производство булавок). Отдельно - навыки игры в домино, шашки, шахматы. Отдельно - такие же отдельные, как и всё перечисленное, слова и фразы вместо русского языка. Может быть, в какую-то

целосообразную, то есть целостную, внутренне закономерную систему объединяются только жесты, коими слепоглухонемые (как и глухонемые, ВСЛЕД за глухонемыми) ребята предпочитают общаться друг с другом. Не культура, а обрывки культуры. Соответственно - не воображение, мышление, чувства, а обрывки воображения, мышления, чувств. Короче говоря, не личность, а случайные обрывки, ошметки личности. Даже не отдельные детали для неё!

Такая "фрагментарно-обрывочно-ошметочная личность" получается из большинства слепоглухонемых детей и взрослых. Конечно, такую "личность" вполне можно встретить и среди глухонемых, и среди слепых, и среди зрячеслышащих, причём совсем не обязательно умственно отсталых. (Кстати, случай умственной отсталости мною здесь вообще не рассматривается.) Но у слепоглухонемых фрагментарность личности прямо вопиёт своей безнадежной очевидностью, ибо фрагментов слишком мало, и они слишком разбросаны, чтобы даже на миг можно было заподозрить в них какую-то систему, какой-то порядок, нечто целостное.

Возможно ли, и если возможно, то как преодолеть фрагментарность личности? И почему личность получается такая фрагментарная? Чего ей не хватает?

Для точного ответа надо собирать и исследовать факты. Этому и посвящена данная работа. В ней, однако, ограничиваюсь только фактами собственной биографии, а из них только теми, которые имеют отношение к формам моих детских игр. Ибо моё собственное развитие нормально в достаточной степени, чтобы к нему обращаться в поисках ответа на вопрос, чего не хватает фрагментарно развивающимся детям. Конечно, можно обратиться к фактам нормального развития и других людей, но эти факты ещё надо собирать, а про себя - под рукой. Пока суть да дело, пока удаётся добраться до фактов про других, разобраться с самим собой - совсем не лишнее. То, что ближе, доступнее, не обязательно самое неинтересное. К тому же я сам слепоглухой, один из очень немногих так называемых высокоразвитых, и тем интереснее изучить процесс нормального развития в тех самых условиях слепоглухоты, в которых, увы, гораздо чаще происходит катастрофическое недоразвитие.

Обращаясь же именно к игре, исхожу из предположения, что если не важнейшая, то одна из важнейших причин катастрофического недоразвития личности - недоразвитие именно способности воображения, а следовательно, и всех остальных психических способностей. Тут простая логика. Если образ - самая первая и поэтому фундаментальная форма знания о мире и о себе, своём месте в этом мире, то воображение - та способность, благодаря которой мы это фундаментальное

знание получаем, - такая же фундаментальная форма сознания и самосознания. А пока нет фундамента, не на чем возводить и этажи. Да, без воображения не обойтись ни в одной, даже самой примитивной, деятельности. Но что толку от воображения, сформировавшегося в этих примитивных процессах, и потому годного только для их осуществления!

Узкоспециализированное, приспособленное, приуроченное к отдельным, неизвестно к какому селу и городу относящимся процессам, - особое "ложечное", "булавочное", "доминошное" или даже "шахматное" воображение, - не может НЕ быть фрагментарным. Воображение должно формироваться не от одного специального случая к другому, такому же специальному случаю, уж как повезёт, какой подвернётся, - а именно как всеобщая способность узнавать, в каком это мире ты очутился и кто ты сам такой. Узнавать, строя хотя бы самые фантастические образы мира и себя в мире. Иначе говоря, воображение должно формироваться как способность именно воображать. Просто так воображать, а не по тому или иному специально-утилитарному случаю. А где же больше мы "просто так воображаем", как не в игре! По крайней мере, в первые годы жизни. И совсем не случайно, конечно, катастрофически недоразвитые дети мало или очень примитивно, почти бессознательно играют, если вообще умеют играть.

В игре накапливается фонд первых образов, первых наших знаний о мире и себе в мире. Тех простейших и прочных знаний, которые лежат в основе всех последующих, сколько угодно сложных и точных; тех, с опорой на которые все последующие только и могут быть добыты. Без этого фонда остаётся навсегда недоступна и художественная, и научная, и нравственная культура человечества. А в существовании этого фонда меня больше всего убеждает именно его отсутствие у большинства слепоглухонемых детей и взрослых. Эти дети могут и писать и читать, но они никогда не поймут самого простейшего текста из "Хрестоматии для маленьких". Простейшие из произведений в этой "Хрестоматии" способны доставить эстетическое наслаждение не только детям, но и взрослым. И вот те художественные произведения, которым радуется трехлетний зрячеслышащий малыш, слепоглухонемые дети не понимают, потому что не располагают необходимым для их понимания фондом образов.

Не могу сказать в точности, что за фонд, из каких именно образов он должен состоять. Требуется отдельное исследование, и не одно, чтобы выяснить, какие именно образы ДОЛЖНЫ составлять минимальный фонд, достаточный для обеспечения последующего нормального развития личности. Чего не знаю, того не знаю. Догадываюсь, что в числе других там должен быть и образ того, как делаются образы, как их можно

по-всякому видоизменять, сочетать и противопоставлять. Ещё там должен быть образ того действия, - может быть, собственного звонкого смеха при виде утреннего солнца, - которое прямо-таки требует восторженного крика: "Солнышко, колоколнышко!" Повторяю, не могу сказать в точности, из чего должен состоять этот фонд, но что без него, этого фонда - дело швах, - знаю точно. И ещё знаю точно, что вне игры этот фонд весь, целиком, никогда ни у кого не накопится. И самообслуживание, и друг-друга-обслуживание, и учебный, и общественно-полезный, и производительный труд, и всё, что хотите, - может дать какие-то элементы для фонда образов, но ничто, кроме игры, не даст этого фонда целиком.

В мою задачу не входит ответ на вопрос, какой ДОЛЖНА быть игра, в которой рождается воображение как всеобщая (универсальная) способность, - рождается в процессе создания первого и самого главного фонда образов. Отвечать на этот вопрос мне просто не по силам - пока, а может быть, и вообще. Поэтому моя задача много скромнее: попытаться ответить, какой МОЖЕТ БЫТЬ, какой БЫВАЕТ и однажды - у меня - БЫЛА такая игра, в которой родилось нормальное воображение, накопился первый и главный фонд образов. При всей уникальности моего опыта он, смею надеяться, может пригодиться для специальной организации игры у тех ребят, у которых она почему-либо "сама" не возникла вообще или не развилась как следует.

Будучи взрослым, я стал называть свою детскую игру в её наиболее развитой форме "большой сказкой". Историю этой "большой сказки" постараюсь проследить в хронологической последовательности. Для удобства анализа, а отчасти в шутку я решил воспользоваться географическим стереотипом описания рек: истоки, среднее течение, дельта. В соответствии с этим основная часть работы, то есть собственно исследование, и разбита на главы.

## 2. ИСТОКИ "БОЛЬШОЙ СКАЗКИ" . 0

Утрату, то есть неполную потерю, зрения у меня обнаружили на четвёртом году жизни. Сохранно только светоощущение. Это значит, что я могу отличать свет от тьмы, светлое от тёмного, различить контуры, довольно-таки расплывчатые силуэты не слишком мелких, но и не слишком крупных предметов на контрастном фоне. Различать цвета я никогда не умел. Такое состояние зрения называется практической слепотой. Всё же ориентировался я в пространстве всегда зрительно. Видимо, в детстве и вплоть до студенческой поры зрение у меня было всё же получше, чем потом. Но уже будучи студентом, я убедился, что не вижу спусков, - убедился, рухнув с университетской лестницы. С

тех пор для подстраховки стал пользоваться тростью. Сейчас без трости уверенно передвигаюсь только в хорошо знакомом помещении, а на улице без трости теряюсь. Возможно, просто привык ходить с тростью. А возможно, с возрастом слепота медленно прогрессирует. Ибо в детстве ориентировался только зрительно, и не помню, чтобы испытывал какие-либо затруднения.

Резкое падение слуха обнаружилось у меня, когда мне исполнилось девять лет. Я стал часто переспрашивать, не понимая с первого раза обращённую ко мне речь. Нелепый врачебный запрет "волноваться", конечно, было невозможно соблюсти, и слух продолжал потихоньку ухудшаться. Ещё в Загорском детском доме для слепоглухонемых детей, куда я попал в одиннадцатилетнем возрасте, замечали, что, когда я спокоен, со мной можно разговаривать устно, почти не повышая голоса, на расстоянии до метра. Но часто по различным поводам, нередко ничтожным (так как я отличался довольно-таки мелочным и вздорным характером), я пребывал в самых разломаченных чувствах. Надо было меня приводить в порядок, учить разбираться, по каким поводам простительно, хотя всё равно нежелательно, расстраиваться, а по каким - уж совсем глупо. И, чтобы договориться со мной устно, не приходилось дожидаться редких моментов моего благодушия. Главное же, я всё равно должен был освоить дактильную (пальцевую) речь, чтобы общаться с другими воспитанниками Загорского детдома. В высшей степени вероятно, для меня даже несомненно, что восприятие речи на слух можно было бы сохранить на специальных, регулярных слуховых занятиях, с использованием слуховых аппаратов. Но в то время - в середине 60-х годов - в СССР ещё не было хороших слуховых аппаратов, кроме импортных, а те были, конечно, жутким дефицитом. Не хватало в детдоме и специалистов-логопедов, так что регулярных слуховых занятий со мной никто не вёл. Ко мне обращались только дактильно, и восприятие речи на слух за ненадобностью растренировалось. Сейчас уже давно речевой слух у меня отсутствует полностью, чему способствовало и то обстоятельство, что наилучшие остатки слуха у меня именно в речевом диапазоне частот.

Устная речь у меня сохранилась естественная, так как сам я ко всем слышащим (прежде всего к родным и учителям) обращался и обращаюсь устно. Надобность в собственной устной речи никогда не отпадала, вот она и уцелела, в отличие от восприятия речи на слух. Правда, устная речь моя хоть и разборчива, но не безупречна. Есть какие-то мелкие дефекты, плохо произношу некоторые гласные и согласные, особенно шипящие, звуки. Мне говорили, что я шепелявлю, как маленький ребёнок, то есть речь осталась на том уровне, на каком её

застало снижение слуха. Новые знакомые иногда даже спрашивали, с каким акцентом я говорю, давно ли из Прибалтики, предполагая, что я то ли эстонец, то ли литовец.

К счастью, абсолютная (тотальная) ранняя, а тем более врождённая слепоглухота почти не встречается. Обычно сохраняются какие-то остатки зрения и слуха, иногда довольно значительные, но не настолько, чтобы обеспечить возможность учиться с опорой на эти остатки. Поэтому от факта сохранности остатков зрения и слуха можно отвлекаться; раз ребёнок не может учиться с опорой на эти остатки, он - всё равно слепоглухой. Но и с такой оговоркой не всех загорских ребят можно признать слепоглухими. Всё же больше всего слабовидящих глухих, учащихся "по-зрячему", только с использованием более крупного и яркого шрифта, чем обычный. Их преобладанию способствует и то, что слепота всё же легче поддаётся лечению, чем глухота. Изредка в детдоме появляются и слабослышащие слепые. Я бы мог остаться среди них, если бы уцелело восприятие речи на слух, хотя бы и с помощью слухового аппарата.

А так я попал в категорию позднооглохших слепых. Между поздно- и ранооглохшими огромная разница, замеченная чисто эмпирически. Именно ранооглохшие, как правило, становятся "фрагментарно-обрывочно-ошметочными личностями", о которых говорилось выше. Насколько знаю, из ранооглохших высокого уровня общего развития достигла только Элен Келлер. Все известные мне советские высокоразвитые слепоглухие - позднооглохшие. В том числе и Ольга Ивановна Скороходова, фактически потерявшая зрение и слух в девятилетнем возрасте.

Я сообщил все эти факты, чтобы дать возможность оценить, так сказать, сенсорную ситуацию моего развития. До трёх лет - нормальная; с трёх лет - практическая слепота; с девяти - прогрессирующее слабослышание, а где-то с тринадцати или четырнадцати - речевая глухота, наступившая вследствие растренированности восприятия речи на слух. Словом - позднооглохший слепой.

-----

Детское развитие многофакторно при нормальных зрении и слухе, а в меньшей степени при слепоте. Эта многофакторность делает детское развитие отчасти, а то и совсем неподконтрольным взрослым, неподвластным доброжелательной воле взрослых. (Помните эту формулу, за которую взрослые хватаются, как за последнее средство добиться послушания, именно во время ссоры с детьми: "Я же тебе добра желаю, только добра!") Делая детское развитие неподконтрольным, многофакторность обрекает взрослых на постоянную тревогу, а то и просто страх за детей. Но при ранней глухоте и особенно слепоглухоте многофакторность отсутствует, а вместе с ней

отсутствует и полноценное по темпам и качеству становление личности, - сложнейший процесс, который, всё-таки, мы не умеем моделировать, не умеем вызывать его и управлять им, хотя порой самоуверенно и претендуем на это, обладающие более или менее крупными успехами. Тут ситуация, как в медицине: не будь болезней, можно было бы и не лезть к организму с попытками "усовершенствовать" его функционирование. Не будь бесконечных, неведь откуда берущихся трудностей с формированием новых членов общества. Не будь подчас самых неожиданных и устрашающих результатов этого формирования, - можно было бы и не пытаться воспитывать и учить - то есть ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ФОРМИРОВАТЬ - этих самых новых членов.

При ранней слепоглухоте никакого развития не происходит до тех пор, пока не начнётся специально организованное воспитание и обучение. Какое-то развитие начинается, только когда в существование ребёнка вмешиваются другие люди, прежде всего - его ближайшие взрослые друзья. Вмешиваются не просто уходом за ребёнком (кормление, купание...), а попытками спровоцировать, хотя бы даже и принудить ребёнка, к соучастию во всём том, что с ним и для него проделывают.

Жизнь кончается и начинается взываниями: "Проснись! Посмотри! Услышь! Улыбнись! Встань!" Безнадёжно взывают к покойнику, перед тем как похоронить его. Покойника зовут обратно, а ребёнка зовут вперёд - зовут жить - и учат его жить, то есть действовать так, как научилось действовать человечество. Зовут и учат жить, соучаствуя в жизни других. Соучастие. Совместно-разделённая дозированная деятельность. Как у зрячеслышащих, так и у слепых, глухих и слепоглухих.

Но у зрячеслышащих и слепых это соучастие непрерывно. Именно непрерывное соучастие в жизни окружающих "запускает" этот, благословенный и проклятый, механизм многофакторности, который делает процесс становления личности не очень-то управляемым. Соучастие в нашей жизни, наблюдение за ней, подражание ей продолжается, когда мы ни к какому соучастию уже не призываем ребёнка, сыты его соучастием по горло и выше, устали от его соучастия, мечтаем отдохнуть. Кто его знает, насколько ребёнок нам подконтролен, но уж мы-то ему подконтрольны круглосуточно, хотим мы этого или нет.

Отсутствие слуха, а значит, устно-речевого общения с окружающими, сильно затрудняет непрерывное, круглосуточное соучастие в окружающей тебя жизни, а отсутствие зрения и слуха вообще исключает такое стихийное соучастие. Обычно специально организованное, психолого-педагогическое соучастие, сотрудничество взрослого и ребёнка происходит на фоне соучастия стихийного, и в том-то и трагедия, что в условиях слепоглухоты этот фон отсутствует. Специально

организованное соучастие не может не быть пунктирным, отрывочным (при всей его регулярности), а это при отсутствии стихийного соучастия приводит к пунктирности, отрывочности процесса развития (как движение в очереди или на перегруженном перекрёстке), и в результате - к "фрагментарной личности".

Короче, при слепоглухоте детскому развитию не хватает той самой стихийности, от которой взрослые не чают спастись при сенсорной норме. Вот и получается: для кого-то, может, эта стихийность и "проклятая", а для детей - благословенная! Тут, как у Вольтера в "Кандиде" с эльдорадским золотом: в Эльдорадо оно валяется всюду, его топчут ногами, самородки раздражённо спихивают с дороги, подобно простым камням, - в то время как в остальном мире за этой "грязью" и этими "камнями" алчная охота... Правда, в силу несовершенства этого остального мира по сравнению с Эльдорадо.

-----

Как это должно быть у всех детей, к моему соучастию возвала прежде всего моя мама, Мария Тихоновна Суворова. А вскоре я уже сам взывал к её соучастию, приглашая её оценить мои затеи, посвящённые и адресованные ей, и больше никому, а так же прибегая к ней за объяснением всего непонятного.

У нас была радиола и пластинки с мамиными любимыми песнями. Мама сама очень любила петь, и пела много, и пела очень хорошо, пока в 1974 году ей не повредили голосовые связки при онкологической операции. Конечно, пела над моей качалкой, убаюкивая. Пела, держа меня на руках и в такт раскачиваясь вместе со мной. Разумеется, не могу ничего этого помнить, но я часто наблюдал свою маму у других колыбелей, с другими детьми на руках.

Зато помню, как мы вместе слушали мамины пластинки, и как я малодушно засыпал под них, особенно под долгоиграющие, так ни одной и не дослушав до конца. В то время, вероятно, мама пела очень много, что ни делала - пела, напевала, - и я, наверное, подпевал, а там начал петь и сам. Мы часто пели вместе. Мама рассказывала, что голос у меня был хороший, лучше, чем у неё, и когда мы пели вместе, она выпускала меня вперед, я всегда был ведущим в наших дуэтах. Она даже уговаривала меня запевать, а сама подхватывала.

Именно с ней впервые услышал я и духовой оркестр. Сначала испугался громкости, потому что был слишком близко, и играли гимн (дело было на торжественном собрании), а потом полюбил этот оркестр, и сейчас люблю больше всех других. Понятно, что любимыми моими игрушками были всякие дуделки-свистелки.

У мамы для стирки был большой овальный металлический, а потому очень звонкий и гулкий, таз. Уж не знаю, из какого

металла, но не эмалированный. Где-то мне раздобыли настоящую колотушку для большого оркестрового барабана, и я колотил в этот таз, распевая, а точнее, вопя, - на всей доступной моему голосу громкости, - всё, что знал. Глотка у меня была, что называется, лужёная, а рвение для младшего дошкольника редкостное, - я мог орать хоть целый день, совсем с небольшими перерывами на отдых. Терроризировал, конечно, всю округу, но округа терпела, потому что попытки утихомирить меня, неосторожно и решительно прервав концерт, приводили к концерту совсем другого рода - дикому, тоже всегда продолжительному, рёву. Когда мама вспоминала моё детство, она первым делом сообщала, какой я был выдающийся крикун. В этом отношении я перещеголял всех других детей на её памяти.

Впрочем, отношение округа к моим концертам было разным. В соседнем доме, как раз напротив нашей веранды, тоже на втором этаже, жила семья главного инженера Фрунзенского отделения железной дороги. Часто по вечерам, облокотившись на перила своей веранды, супруги Фейгины наблюдали за нами с мамой, восхищаясь маминым терпением и удивляясь моей одержимой увлечённостью всем, что ни делал. Потом они поселились в Москве, мама с ними иногда созванивалась, и они не меньше мамы любили вспоминать меня маленького.

Вообще в то время я любил музыку так, что все были уверены: быть мне музыкантом, даже "вторым Чайковским", - и уже шестилетнему родители купили мне тульский баян.

У меня была деревянная лошадка на колёсах, такая большая, что я, трёх - или четырехлетний, мог сидеть на ней верхом и кататься по всей комнате. С живыми лошадьми я тоже был знаком, так как папа служил тогда в конной милиции, и иногда приезжал с товарищем - дядей Жорой, киргизом, - по вечерам, чтобы покатать меня и сестрёнку. В таком катании выражалось наше детское соучастие в папиной службе. Бывал я с папой и в милицейской конюшне. Иногда приходилось пользоваться даже гужевым транспортом, то есть ездить на телегах, - больше в деревне у родственников, но порой и у наших городских знакомых. В общем, "конских" впечатлений хватало.

Как всех детей, меня привлекал автотранспорт. Поводов для знакомства с ним, естественно, было предостаточно. А в моём игрушечном автопарке преобладали разнокалиберные грузовики, которыми я пользовался для дела - возил в них песок.

У нас было печное отопление. Топили углем, а уголь на всю зиму привозили к нам грузовики. Смутно помнится, что были и другие случаи наблюдать погрузку-разгрузку автомашин. Конечно, я не столько видел, сколько слышал всё это.

Возиться в песке я очень любил. Строил крепости,

опоясывал их рвами, из мокрого песка сооружал многоэтажные дома естественной для всякой кучи пирамидальной формы. Сооружения из кубиков были слишком непрочными и примитивными. Я их за это не любил. Зато бегал на соседнюю стройку и тоже строил из настоящих кирпичей. Позже на несколько лет увлёкся пластилином.

Любил изучать окрестности. Мне обязательно надо было проверить каждую тропинку - куда ведёт. Путался на слишком широких, для моего зрения неохватных открытых местах, навестил все лужи и канавы, однажды на стройке влез в яму со смолой - густой, липкой, но совсем не горячей. Бегал босиком по солнцепёку, и помню, как застрял на раскалённой солнцем утоптанной площадке возле сараев, почему-то не в силах убежать оттуда в свой дом. Я отчаянно орал, пока не прибежала мама и не вынесла меня на руках.

Любил ходить на первомайские и ноябрьские демонстрации - обязательно сразу за оркестром. Из-за оркестра же не пропускал ни одной мимо идущей похоронной процессии, а их проходило немало - видимо, близко было кладбище. Даже когда я вырос, если нам с мамой случалось провожать кого-то в последний путь, мама словно по привычке пристраивалась - даже на похоронах отца - вместе со мной поближе к оркестру, хотя, конечно, я взрослый прекрасно понимал, что похороны - это не концерт.

О танцплощадках нечего и говорить. Малышей туда не пускали. Но для меня неизменно делали исключение, зная, что я рвусь поближе к духовому оркестру. Увести меня домой, пока оркестр играет, было невозможно. Я словно запасался мелодиями, пока слышал, и поныне тот детский запас уцелел в памяти, составляя немалую часть всех известных мне наизусть мелодий. (Само собой, пользуясь остатками слуха и мощной бытовой электроникой, я упорно пытался и пытаюсь пополнять свой мелодический фонд после ухудшения слуха.)

Где-то в пятилетнем возрасте я остро пережил и случай бесчеловечности по отношению к другому человеку, не ко мне. В нашем подъезде на первом этаже жила киргизская старушка. Дом'а эти были без удобств, бельевые верёвки тянулись через двор от угольных сараев к ближайшим фонарным столбам или деревьям. Стоило той старушке выйти на улицу, и детвора её окружала, выкрикивая: "Киргизка, киргизка!" Ну, киргизка, ну и что? А мы кацапы. Но киргизы очень обижались, даже киргизские дети в школе слепых терпеть не могли, когда их называли "киргизятами". Кидались драться.

Какое-то недолгое время я в этом безобразии участвовал. Киргизская старушка не обращала на нас внимания, что нас, конечно, особенно злило, и мы тем более неистовствовали. Если старушка пыталась кого-то из нас поймать, это было для

детей триумфом. Но однажды я вдруг обратил внимание, как, собрав свои простыни, старушка идёт домой - сгорбленная, молчаливая, скорбная, еле передвигая ноги. Скорбность этой фигуры меня неожиданно потрясла. Я вдруг кинулся на ребят с кулаками, хотя драться совершенно не умел, крича: "Прекратите!" - мамино самое частое запретительное слово. Не помню, состоялась драка или нет, только вокруг меня вскоре стало пусто. Я расплакался и пошёл в свой подъезд. Долго, колеблясь, стоял у двери в квартиру старушки, не в силах ни уйти, ни позвонить. Наконец позвонил, старушка открыла, я с трудом выдавил из себя: "Бабушка, простите, я больше не буду вас дразнить", - и разрыдался. Старушка была ошарашена, никак не могла меня успокоить, потом отвела домой... Как её звали? Мама помнила только явное прозвище, - не имя.

С тех пор я очень редко замешивался в детскую палачествующую толпу. Обычно сам бывал её жертвой.

Стоит ли говорить, что всё это и стало реальной основой моих игровых фантазий. Конечно, не только это, - всего не упомнишь и не перечислишь.

-----

Продолженное соучастие - это когда никто с тобой специально не возится, даже не обращают на тебя внимание. Соучастие в окружающей жизни может быть продолжено двумя способами.

Первый способ продолженного соучастия - наблюдение, простая включённость во всё, доступность всему, что может быть случайно замечено, - увидено, услышано. Может быть, детскому вниманию и лучше быть рассеянным, чтобы больше замечать, а то взрослые со своей избирательностью внимания в упор не замечают массу нужного.

Второй способ продолженного соучастия и есть игра. В игре воспроизводится "понарошку", комбинируется, переиначивается всё, на что специально обратили твоё внимание, и всё, что ты сам заметил благодаря лёгкой своей детской отвлекаемости. Это просто здорово, что ребёнок "ловит ворон" и не может иначе. Пусть ловит их побольше.

Сколько себя помню, я играл обычно один. В коллективных играх участия почти не принимал. И не только потому, что из-за плохого зрения меня в игру не брали. Не раз пробовали брать, но, даже если игра была мне вполне доступна, получалось как-то скучно. Во всяком случае, в одиночку мне было намного интереснее, я мог увлекаться буквально до самозабвения. Коллективное же фантазирование казалось каким-то пресным, скучным, чересчур реалистичным. Мне неинтересно было играть, например, в праздничные застолья, пить воду из игрушечной посуды и изображать из себя вдребезги пьяного. Зато я увлечённо фантазировал на военные,

похоронные, строительные и другие темы, - очень разнообразные, но никогда не бытовые. Игры с бытовыми сюжетами я, кажется, презирал всегда.

Уже взрослому, мне хочется посмотреть игры детей. Не вмешиваясь, просто понаблюдать за ними. Но слепоглухота навсегда лишила меня такой возможности. Приходится спрашивать:

- Что делает малыш?
- Играет.
- Как играет?
- Обыкновенно... Не знаю, как сказать. Не умею описать.
- Ну, что он сейчас делает?
- Везёт машину.
- Игрушечный грузовик?
- Да.
- Пустой?
- Нет, с песком.
- Что-нибудь говорит?
- Говорит. Сам с собой.
- Что говорит? Нельзя ли прислушаться и мне повторить?
- Много... Быстро говорит... Повторить не могу... Да

зачем тебе? Какой дотошный! Любопытной варваре на базаре нос оторвали!

В самом малом возрасте игра детей лишь внешне проявляется в том, чтобы копаться в песке, возить за собой на верёвочке игрушечный автомобиль, нагружать или разгружать его, баюкать и кормить куклу. Я лично, совершая те или иные игровые действия, всегда фантазировал. И как-то стихийно стремился к тому, чтобы игры мои не просто сменяли друг друга, а переходили друг в друга. В жизни ведь не бывает, чтобы что-нибудь - ни с того ни с сего. Происходящее обычно связано с происходившим и обуславливает предстоящее. Конечно, мы не можем сразу чётко осмыслить, понять всеобщую связь. Но и не чувствовать её тоже не можем. Если бы не чувствовали - нечего было бы понимать. Не это ли ощущение всеобщей взаимосвязи вынуждает фантазировать, порождает фантазирование в игре? Во всяком случае, ничем другим не могу объяснить своё стремление к взаимосвязи моих игр. Стремление, проявившееся так рано, что я вообще не помню себя без него. А я помню себя не позднее чем с трёх лет.

Всевозможные дидактические, спортивные, настольные игры - по существу и не игры, а только так по традиции называются. На это указывал ещё А.Н.Леонтьев (вслед за Д.Б.Элькониним), заметив, что игры взрослых, где важен результат, - никакие не игры. Игра самоценна, то есть её мотивационная формула - "не сделать, а делать". Результат же - нечто побочное, непреднамеренное. Во всяком случае - для

ребёнка.

Что значит - "играть во что-то"? Я сказал, что любил играть в войну, в строительство, в путешествия. А на самом деле я просто играл, не затрудняя себя вопросом - во что. Так же как просто жил, существовал, до поры до времени не затрудняя себя вопросом - зачем.

Бездумно бродить по окрестным тропинкам, изучая их хитросплетения, выясняя, какие куда ведут, - скучно. Лучше бродить и что-нибудь придумывать.

Бездумно кататься на трехколёсном велосипеде - надоест. А вот если у меня не трехколёсный велосипед, а рейсовый автобус, и вокруг не подъезды соседних домов, а остановки, - другое дело. Так можно ездить часами, и не надоест.

Или - всё тот же трехколёсный велосипед, но малыш едет очень медленно, что-то напевая... Это не велосипед, а грузовик с гробом в кузове, и борта кузова опущены, и духовой оркестр играет похоронный марш.

Кого хоронят? Сначала - кого-нибудь, кого хоронили взаправду в последний раз. Всё больше молодых, погибших в результате несчастного случая: кого током убило, кто на велосипеде или на мотоцикле расшибся. А потом - "мы жертвою пали в борьбе роковой" - воображаемых павших героев. Живших и павших в моей же безжалостной фантазии.

Я очень любил "хоронить". Я не чувствовал жути этого ритуала, а видел одну только торжественность его. Чуть ли не праздничную, ибо "виновник торжества" - покойник - тогда для меня не существовал. Зато приметы праздника - несомненные. На демонстрациях - оркестры. И на похоронах. Накануне демонстрации первого мая мы ездили в горы за тюльпанами, и вообще ни один праздник без цветов не обходится. И тут цветы. Знамя красное - и гроб красный, и звезда на пирамидке памятника красная. (Эту последнюю подробность я, конечно, выяснил у взрослых.)

Смена игровых действий или сюжетных интерпретаций одного и того же действия должна быть мотивирована самой игрой. Не знаю, может быть, так и бывает: захотел играть "в другое" - ну и стал играть "в другое". Я тоже с лошадки на колёсах пересаживался на трехколёсный велосипед, а его оставлял, чтобы на верёвочке потаскать за собой какой-нибудь игрушечный автомобиль. Но главными в моих играх всегда были не действия, а фантазии по их поводу. Если и было действие, ради которого я городил весь свой игровой огород, то это было действие сочинительства, выдумывания, фантазирования. Я был автором, сочинителем своей игры. Но это всё же была игра, а не сознательное творчество, ибо я не заботился о результате. Для меня важно было сочинять, придумывать, а не сочинить, придумать, - в полном соответствии с мотивационной

формулой игры: делать, а не сделать, играть, а не выиграть. (Понятно задним числом, что я в конечном счёте очень даже много выиграл, - всю свою последующую судьбу, - но ведь не ставил же перед собой этой цели, да и вообще никаких целей, кроме чисто игровых.) И моё игровое поведение никогда не сводилось к примитивному: прискучило одно, захотелось другого, - ну и взялся за другое. Прежде чем браться за другое, я чем дальше, тем упорнее пытался перекинуть мостик между прежним и этим другим. Чтобы безо всяких "обоснований" затеять что-то новое, мне нужен был перерыв - например, сон. А так - не было у меня разных игр. Была одна разнообразная игра. Не просто разное, а сразу всё в одном.

Выглядеть это "всё в одном" могло так.

С утра сел на велосипед и "поехал на работу" обычным автобусом. Объехал весь двор - не маленький: пять двух- или трехподъездных двухэтажных домов в виде буквы "С", да шестой дом внутри этой буквы. Взял игрушечный грузовик, потянул его на верёвочке к песочнице. Я и "экскаватор", и водитель грузовика. Туда-сюда - от песочницы с песком - к сараю (где жильцы хранят уголь), оттуда без песка - к песочнице. Какая-то блюстительница порядка накрыла на месте преступления:

- Песку место в песочнице! Не разводи мусор! Вези всё назад!

Вот злая тётя! Всю игру испохабила. Но не бросать же из-за неё? Это не тётя, а начальник. Дал команду: перевозить песок в другое место. Это место, конечно, всё та же песочница, но "понарошку" - совсем не она, а граница: на границе строят крепость; туда и песок.

Вдруг нападают враги. У крепости только три стены, четвёртую построить не успели. В этом незащищённом месте и вспыхивает главный бой. Ожесточённо разбрасываю песок - стены горят, вся крепость горит. Это даю выход злости на ту бестактную тётку, а она тут как тут:

- Чего хулиганишь? Чего песок разбрасываешь?

- Отстаньте!

- С кем разговариваешь? Грубиян!

Убегаю. Обернувшись, старательно высовываю язык. И наутёк, без оглядки. Сзади возмущённые вопли, но это меня уже не касается. Так ей и надо. Пускай покричит.

Да, а крепость враги таки взяли. Пришлось отступить, унося убитых и раненых, бросив машины (грузовик и экскаватор). У сарая произносятся негодующие речи, звучат клятвы "отомстить за товарищей". Поскольку грузовик у врагов, гробы живые несут на руках. Я медленно выхожу со двора, напевая похоронный марш. Обойдя свой двор с улицы, у забора, отделяющего наш двор от больничного, погребаю павших

героев. В суровом молчании прокрадываюсь к песочнице. "Под покровом ночи" истребляю своих врагов, то есть бросаюсь на песочницу, топчу песок ногами, заодно нащупываю (а то не вижу) грузовик с лопатой - и убегаю с ними, потому что к песочнице направляется какая-то большая фигура (опять, наверное, та злая и глупая тётка).

Занеся игрушки домой и скорее проглотив, что мама дала, через дырку в заборе проникаю в больничный двор и начинаю шнырять в пустынной его части, заросшей всякой всячиной и пересечённой тропинками. Это я путешествую, открываю новую страну. Открыл, а мне почему-то не рады. Опять война...

-----

Так я мог без конца нанизывать друг на друга игровые действия и сюжеты. Эта игровая цепь существовала всегда. Сначала я её обрывал, так как приходилось выходить из игры, и потом начинать всё заново. Позже игровую цепь я сделал бесконечной, запоминая, "на чём остановился", и возобновляя после перерыва с того самого места, как ни в чём не бывало.

Конечно, теперь уже не вспомнить, откуда всё это бралось. В одном убеждён: не родился я с этим. Немало от взрослых узнать довелось, а в книгах потом ещё больше я встретил.

С самого начала я попал в "полководческую" среду. Нет, среди моих знакомых не было и нет ни одного полководца. Зато в честь полководца называли меня самого. Именем полководца (Фрунзе) назывался тогда и мой родной город. (Столица Киргизии должна называться по-киргизски, и теперь этот город называется Бишкек.) В разговорах взрослых звучали отголоски минувшей Великой Отечественной Войны, и опять полководцы - Жуков, Конев, Рокоссовский. Из книжки "Чапаёнок", если не раньше, я узнал о Чапаеве, из книжки "Миколка-паровоз" - о красных партизанах, из хрестоматий "Родная речь", из "Истории СССР" для IV класса С.П.Алексеева (прекрасного детского писателя-историка) - и о Щорсе, и о Котовском, и о Будёном, и о Кутузове, и о Донском, и о Невском. Словом, материала хватало с избытком, чтобы моя фантазия приняла по преимуществу "милитаристский" характер. Да и фамилия с именем и отчеством тоже "обязывали" - как-никак тройной тёзка полководца! Конечно, я примерил на себя роли всех этих деятелей, пока, много позже, не остановился на одной.

В выборе "супостатов" тоже на первых порах не затруднялся. Ухитрился наслушаться всяких страстей о ядовитых змеях, испугался на всю жизнь, наделил их всем злым-плохим - и сражался с ними, отбивая их атаки ружейными залпами. Потом и "враги" стали более или менее постоянными.

Постепенно игрушки стали не то что не нужны, а не обязательны. Я свободно мог без них обходиться. Уже в

детском саду всё чаще моя игра стала выглядеть так: заберётся мальчик в уголок поединённой, мечется там взад-вперёд, как волк по клетке, и сам с собой разговаривает, сам себе что-то рассказывает, иногда поёт, изображает пальбу или ещё что-то. В детском саду я прятался, видимо, просто чтобы не отвлекали, а в школе слепых - потому, что дразнили за привычку "говорить с самим собой". В Загорском же детдоме прятаться было не от кого, да и незачем, - я уже мог фантазировать молча. Но привык прятаться, и всё равно убежал.

Конечно, от игрушек при случае не отказывался, особенно от таких, из которых можно было что-нибудь соорудить "по ходу действия". Уже когда всё ролевое и сюжетное разнообразие моей игры превратилось в одну "большую сказку", в девяти - десятилетнем возрасте, моей любимой игрушкой стала деревянная дощечка на колёсах от какого-то конструктора. С помощью пластилина я мог превратить эту дощечку и в автобус, и в грузовик, и просто в брочку, - во что хотел. Возился с пластилином упорно, очень подолгу, добиваясь осуществления своих фантазий. А потом ломал всю свою лепку, которая могла уцелеть какое-то длительное время лишь потому, что моя фантазия обходилась без воплощения, - разве что в слова... А так поводом для фантазирования могло быть что угодно.

Не знаю, как другие, а я никогда не качался на качелях "просто так". Это были не качели, а самолёты и ракеты, на которых я куда-то летал. И я мог качаться до одури, до головокружения только потому, что воображал себя в дальнем беспосадочном полёте, или же "приземлиться" было негде.

Тщательно изучил все доступные мне географические карты, - разумеется не потому, что меня так уж интересовала география сама по себе, а потому, что с опорой на знание карт интереснее было фантазировать, сюжеты можно было усложнять и растягивать до бесконечности.

И уж совсем неисчерпаемым источником содержания для "большой сказки" стали, конечно, книги.

Честно говоря, за редкими исключениями, преподавание было не настолько ярким и талантливым, чтобы я мог увлечься каким-то предметом самим по себе. От скуки спасало вовлечение учебного материала в игру-фантазирование, а заодно лучше осваивался и материал, но уж об этом я не заботился - выходило само собой.

Игра моя всегда была фантазированием. Играть - значило фантазировать, хотя и не наоборот, ибо потом появилось ещё и литературное творчество. И эта моя игра-фантазирование очень рано потребовала от меня упорства.

Помню, ещё в детском саду, кажется в пять лет, я

захотел добиться как можно более точного воспроизведения духового оркестра голосом. Несколько дней, буквально с утра до вечера, терзал свой голос, тренировался, добивался фантастического - полного! - сходства с оркестром. Особенно мучали меня литавры, и трудно было передразнивать сразу и барабан, и литавры, и длительные звуки мелодической группы оркестра. Имею в виду звуки такой длительности, что на несколько тактов. Страдал не зря, добился наивозможного сходства, - по крайней мере, на собственный слух.

-----

Распрашивал маму о своём детсадовском детстве. У меня осталось смутное воспоминание о каком-то конфликте с ровесниками ещё в детском саду. К моему удивлению, мама энергично отрицала такое. По её воспоминаниям выходит, наоборот, что дети меня очень любили, особенно из младших групп. Воспитательницы якобы спокойно оставляли меня со своими детьми, а я малышам пел или сказки рассказывал часами. Вот уж не помню! Но, может быть, именно так выглядело начало "большой сказки" со стороны?

Фантазируя, обычно я никого вокруг не замечал. А если и замечал, то не обращал никакого внимания. Лишь бы не трогали... Но фантазировал-то я вслух. И когда припоминаю те времена, обнаруживаю себя то в центре детсадовской территории, у фонтана, то на краю площадки какой-нибудь из групп, то на дорожке между этими площадками и двухэтажным зимним зданием детсада. Иногда - по вечерам, когда за мной должна была прийти мама, - у забора, недалеко от калитки, через которую только и можно было попасть на детсадовскую территорию. Места, в общем, никак не безлюдные. Так что вполне возможно, что ко мне внимательно прислушивались, хотя и не мешали. Из-за плохого зрения - практическая слепота! - я не мог оценить размеры своей "аудитории". Вот и не запомнил, а может быть, не осознал, того, что отчётливо запомнила мама.

Ещё припоминаю себя в другом детском саду, не в своём, а в который я навещался, став немного постарше, во время своего бродяжничества по соседним и не очень соседним кварталам. Там я припоминаю себя окруженным самыми маленькими, что-то им рассказывающим, - возможно, фантазирующим вслух на сей раз "на публику". Там я чувствовал к себе куда более дружелюбное отношение, чем в собственном детском саду, так что мог расхрабриться. Но ко мне привыкли, перестали обращать на меня внимание, мне там стало скучно, и я перестал туда заходить.

### 3. РАСЦВЕТ "БОЛЬШОЙ СКАЗКИ"

Сколько себя помню, я всегда очень любил сказки.

"Курочку Рябу" знал наизусть. Твердил её вслух, как стихи, и всё-таки постоянно приставал к маме с просьбой снова и снова читать эту сказку. Первой книжкой, которую, одолев букварь, я прочитал самостоятельно, был сборник сказок "Слонёнок". Всю жизнь жалел, что не удалось дочитать до конца сказку "Перевернутое дерево" - о том, как бедному старику Бог дал жёлудь, чтобы старик вырастил дуб до неба, и в одну ночь вырос дуб, только не вверх, а вниз, и внуки старика полезли по веткам этого дуба в преисподнюю, где посетили множество удивительных миров. Эту книжку я стянул у кого-то из одноклассников в школе слепых, успел прочитать чуть больше половины, пока одноклассник не обнаружил и не отнял у меня книжку. Недавно с радостью обнаружил эту сказку на одном из компакт-дисков серии "Библиотека в кармане".

Книг вообще не хватало, а сказок - тем более. В школьной библиотеке поначалу больше одной брайлевской книги за раз не давали, а сама библиотека, как водится, чаще была закрыта.

(Тут надо учесть разницу в объёме между зрячими книгами и брайлевскими, для слепых. Рельефно-точечный шрифт Брайля крайне громоздок, и один и тот же текст занимает по Брайлю в десятки раз - кажется, в тридцать с чем-то - больше места. Поэтому брайлевские издания часто представляют собой комплекты из нескольких весьма солидных "кирпичей". Например, "Гаргантюа и Пантагрюэль" Ф.Рабле - в четырнадцати книгах, "Война и мир" Л.Н.Толстого - в двадцати шести, "Словарь русского языка" Ожегова - в тридцати шести... Первый том "Капитала" К.Маркса - в двадцати двух книгах, второй - в тринадцати, третий - в двадцати четырёх (обе части), четвёртый - в тридцати девяти (все три части)... Поэтому слепые различают понятия "том" и "книга": зрячий "том" представляет собой обычно самостоятельный комплект из брайлевских "книг". Так что одна брайлевская книга за одно посещение библиотеки - это очень мало: я запросто одолевал в день четыре брайлевские книги художественного текста.)

Я сразу проявил себя таким ретивым читателем, что книги у меня часто отбирали, поскольку я норовил читать по ночам и на уроках. Однажды у меня на уроке учительница отобрала книжку, которую я читал под партой, и запретила библиотекарю выдавать мне книги. Ничего не оставалось, как лазить по ребячьим партам и таскать что придётся. А учительница забыла про своё наказание, я же слишком хорошо помнил и боялся подходить к дверям библиотеки, так что мой книжный "пост" продолжался несколько месяцев, пока я не осмелился напомнить учительнице. Тогда мне книгу отобранную вернули, дали полную амнистию с условием - на уроках не читать.

В Загорске тоже со мной воевали. Ограничили одной

брайлевской книгой в неделю, а это кошмарно мало, учитывая сказанное выше об объемах брайлевских книг. Медики отбирали у меня книги после отбоя. Сначала я читал открыто, потом стал читать под одеялом, но медики быстро раскусили эту невинную хитрость.

Книга-то под одеялом хорошо прощупывается, а страницы, когда их переворачиваешь, ещё лучше, наверное, шуршат, чего я не слышал. Тогда я стал просить, чтобы меня в спальне клали на кровать непременно около стены. Не знаю, каким десятым чувством я ощущал приближение ночных дежурных, и при малейшей тревоге засовывал раскрытую книгу между кроватью и стеной, так что она там не лежала, а стояла. Дежурные не ленились лазить под кровать, но были слишком громоздки, чтобы дотянуться до книжки. Всё же и эту уловку разоблачили и переложили меня на середину спальни. Но две кровати на середине обычно стояли почти вплоты, и соседняя кровать служила мне ещё лучше стены, книга между кроватями отлично стояла, и добыть её оттуда было ещё труднее. Вся эта возня длилась несколько лет, пока на меня не махнули рукой.

Обычно жалуются, что ребят за книжку не усадишь. Я, наоборот, сам рвался к книгам, готов был преодолеть любые препятствия, лишь бы почитать, и чем больше пытались "ввести в норму" мою чрезмерную страсть, тем она становилась чрезмерней. Я был такой ребёнок, которому дай волю, - круглые сутки читал бы. (В Загорске, кстати, дорвался, и действительно, так и читал, - нередко ночи напролет, преодолевая сонливость.) А ведь ребёнку и погулять надо, да и с уроками как же?.. И то, к чему других приходится тянуть, для меня часто было "запретным плодом", который, как известно, сладок. Таким образом, моему превращению в библиофила способствовали все "факторы", - как положительные, так и отрицательные.

Всё-таки могучая сила - диалектика запрета! Хорошо бы научиться использовать её сознательно. Психолого-педагогическая игра в запрет. Запретить не "взаправду", а "понарошку". Запретить не то, чего в самом деле нельзя, а то, к чему надо приучить, приохотить. Подразнить запретами, а потом как бы "сдаться", нехотя "разрешить"...

Мой друг Ирина Владимировна Саломатина рассказывала, что в Строительно-педагогическом объединении "Радуга", многолетним членом и одним из руководителей которого она является, так однажды и поступили. Запретили читать. Отбирали книги, наказывали за чтение. С книгами начали прятаться, уединяться с ними даже в туалетах, по всем мыслимым и немыслимым углам и закоулкам. Повоевали так недели две, а потом "забыли" про запрет, перестали обращать

внимание на конспираторов. Они продолжали прятаться, но их уже никто не ловил. Они "обнаглели", стали читать открыто, никто не обращал внимания. Кончилось тем, что все стали заядлыми книжками, чего, собственно, Андрей Андреевич Савельев, отец-основатель объединения, как раз и добивался. Чтение, став запретным плодом, превратилось в потребность. Молодцы.

- Так нечестно! - слышу детское возражение. И отвечаю:

- А как же тебя, чёрта нежного, иначе увлечь? Подскажи.

Так или иначе, в первые школьные годы с книгами у меня были постоянные трудности, а уж сказок среди книг попадалось и вовсе мало. Может быть, среди других факторов и этот дефицит подстегивал мою фантазию, способствуя дальнейшему развитию игры. Я знал, что такое сказки, очень любил сказки, но сказок было мало, - и вот я сам их придумывал, сам себе их рассказывал. Вероятно, эти самодельные сказки-игры удлинялись и усложнялись по мере того, как формировались устойчивое внимание и цепкая память. Сами же устойчивость внимания и цепкость памяти формировались, кроме всего прочего, и в процессе игры. Так что влияние тут взаимное. В конце концов это взаимоформирование сделало возможным продолжение игры после длительного - например, ночного - перерыва. Вместо того, чтобы каждый раз придумывать заново и по-новому, я стал продолжать свои сказки с того места, на котором остановился перед перерывом. Отдельные сказки слились в одну большую. Не сборник, не цикл сказок, а одна бесконечная сказка. Окружающий меня реальный мир, особенно книжный, я стал превращать в собственный воображаемый, игровой мир. Этот мир и походил, и не походил на настоящий. Почему? В теории воображения это, пожалуй, самый трудный вопрос - о соотношении образа и реальности. Может быть, мой игровой мир походил на настоящий, когда я переносил в игру самое интересное, то есть самое волнующее, в настоящем мире (в том числе, и особенно, в книжном). Но когда я ссорился с настоящим миром, - иногда со взрослыми, а чаще всего с ребятами, - я во время игры пытался "исправить" несовершенный настоящий мир, и сходство между ним и игровым миром исчезало. Впрочем, это всё не более чем догадки...

-----

"Большая сказка" у меня развивалась одновременно в двух вариантах. Были эти варианты очень похожи, но один был "взрослый", а другой - "детский". То есть в первом варианте действовали взрослые, а во втором - главным образом подростки среднего школьного возраста, потому что именно в этом возрасте я больше увлекался вторым вариантом. "Взрослый" вариант появился, примерно, когда я был во втором классе школы слепых, а "детский" - несколько позже, по

образцу "взрослого". В "детском" варианте я, в основном, сводил счёты с ребятами, которые не мог свести "взаправду".

Если "играть роль" - значит обязательно отождествлять себя с кем-то другим, - я - не я, а шофер, лётчик, полководец..., - причём действовать во всякой роли от первого лица, - то я в "большой сказке" был в роли только автора, летописца, рассказчика. Я не действовал от имени героев сказки, а обо всех без исключения рассказывал в третьем лице, называя их, в основном, по фамилии, иногда - по именам-отчествам. Я не влезал ни в чью "шкуру" (видимо, чтобы не запутаться в этих самых "шкурах"), не был никем, но имел любимых героев, из которых самого любимого называл своим именем, отчеством и фамилией. Таким образом, получилось три Александра Васильевича Суворова; один - я сам, фантазирующий мальчик, и два - по одному на каждый вариант - идеальных, то есть воплощающих мои идеалы.

Взрослый Суворов был бессмертен. Читая о восстании Спартака или Степана Разина, о Великой Французской революции или Парижской Коммуне, о Гражданской Войне в России или о Великой Отечественной, я волновался так, что должен был вновь и вновь разыгрывать эти события в своей фантазии. При этом я не хотел ни расставаться со своим любимым героем, ни нарушать хронологию. Вот и приходилось взрослого Суворова делать бессмертным, чтобы он мог оказаться в любой эпохе, сражаясь каждый раз на стороне угнетённых - рабов, крестьян, рабочих.

Сходная проблема возникла и в детском варианте "большой сказки". Масштабы событий там у меня были такие же вселенские, как и во взрослом варианте, а события такого масштаба требуют немалого времени. За это время мой герой-подросток сто раз успел бы стать юношей и зрелым мужем. Чтобы этого не произошло, время Суворова-подростка пришлось остановить: кругом могли проходить годы, десятилетия, столетия, но он как ни в чём не бывало оставался двенадцатилетним. А чтобы взрослые не лезли в детские дела, я решил раз и навсегда, что они просто ничего не замечают, хотя у них под носом происходят целые детские войны.

Вопрос о том, как оба Суворова стали бессмертными, решился, когда я был уже в Загорском детдоме.

В тринадцать - четырнадцать лет я увлёкся перепиской на брайлевской машинке любимых стихов (целых поэм), я после отбоя тащил в спальню даже брайлевскую машинку, не то что книги. Так лёжа и писал. А уж читал по ночам с таким упорством, что не откладывал книжку, даже засыпая. Просыпался и снова читал. Читал почти всё подряд, что попадётся под руку, за исключением программных произведений,

которые надо было "проходить" по литературе. Программные произведения читал неохотно отчасти потому, что читать их вообще было рано (вряд ли современного подростка может увлечь "Путешествие из Петербурга в Москву" А.Н.Радищева с его архаическим языком), но главным образом именно потому, что их надо было "проходить", то есть убивать скучнейшим анализом в сочинениях по образцу и подобию тошнотворных учебников.

Так вот, в моём книжном хаосе были альманахи "Мир приключений", а там повесть о межгалактическом полёте и о том, как участников полёта их родные и близкие дожидались в состоянии анабиоза. Я тогда понял только, что это состояние, при котором люди ухитряются остаться живыми в течение тысяч лет, да ещё здоровыми настолько, насколько были здоровыми в момент погружения в анабиоз. Сам анабиоз - как сон. Но сколько бы этот "сон" ни длился, человек остаётся физиологически в том же возрасте, в каком заснул. Мне эта идея очень понравилась возможностью объяснить бессмертие главных героев "большой сказки". Я решил, что они находятся в состоянии анабиоза, но только не спят. Ведь повстанческими и революционными армиями они должны командовать наяву, а никак не во сне. Но тогда какой же это анабиоз? Самый настоящий, только пусть будет два вида анабиоза, - решил я. Один анабиоз неподвижный, как в той фантастической повести из "Мира приключений", а другой - подвижный, активный, какой мне и нужен.

Наибольшее развитие эта идея получила в детском варианте "большой сказки". Собственно, там она и возникла. В детском варианте происходили те же бурные события, что и во взрослом, - восстания, революции, войны. Только участниками этих событий были школьники, и происходили эти события в школах. Но, в отличие от взрослых, дети гибнуть не должны. А что это за война, на которой не убивают? Помню, что решить это противоречие помог один кошмарный сон.

Накануне я, очевидно, особенно крепко не поладил с кем-то из ребят ("неполадки" такого рода были у меня обычным делом). И вот приснилось, будто я попал в руки своих обидчиков, и они повели меня на расстрел. Стреляют, попадают, а я живой. Когда одна из пуль попала в область сердца, я упал. Нет, не умер, но стал совершенно неподвижным, и пошевелиться совсем не мог. Живой, все чувства в порядке (я почти до окончания университета снился себе зрячеслышащим), но в то же время невозможно даже чуть-чуть пошевелиться. Однако из этого жуткого состояния вывести было проще простого. Сам освободиться от оцепенения не можешь - неподвижен, - но это легко может сделать кто-нибудь другой. Дело в том, что в детском варианте

"большой сказки" в ходу были не настоящие пули, а, как я их назвал позже, "анабиозные". Даже при выстреле в упор эти пули глубоко в тело не проникают, застревают под кожей и остаются там, как гранатовые зернышки. Вытащить их легко, потому что они хоть и под кожей, но натягивают её и выступают наружу, как опухлости от комариных укусов. Провел рукой по коже, нащупал такую выпуклость, колупнул ногтем и вытащил пульку. А как только пульку вытащат, мгновенно исчезает и оцепенение.

Именно так и выручили меня мои друзья в том кошмаре.

Остальное, запомнив этот сон, я постепенно дофантазировал уже наяву. Неподвижный анабиоз (оцепенение) наступает только при выстреле в сердце. При попадании в другие места оцепенение не общее, а местное (не "убит", а "ранен"). Но есть одна точка, попадание в которую вызывает общий подвижный, а не неподвижный анабиоз. То есть получается бессмертие без оцепенения. Всё остаётся как было, только прекращается рост, и сколько бы времени ни прошло, твой возраст не изменяется. Для тебя время стоит на месте. Не могу уже вспомнить, куда я помещал эту "точку подвижного анабиоза". Но, если неподвижный анабиоз был хуже смерти (это я понимал), то подвижный был высшей наградой, какой удостаивались только самые ценные, самые авторитетные детские руководители. Если бы они выросли, то мир детского варианта "большой сказки" оказался бы обезглавлен. Поэтому они не должны были расти, вечно оставаясь подростками от двенадцати до четырнадцати лет. Идея воспитания, то есть чтобы эти бессмертные подростки во взрослом состоянии стали гениальными воспитателями, мне тогда была чужда, - может быть, потому, что меня самого активно воспитывали.

В детском варианте "Большой сказки" добрых ребят я называл "миниатюристами", а злых - "детфашистами". (Имелось в виду, что весь вообще мир детского варианта "большой сказки" - это мир взрослого варианта в МИНИАТЮРЕ, в том числе дети-революционеры, борцы с детфашизмом - это взрослые борцы со взрослым фашизмом в МИНИАТЮРЕ, и поэтому - "миниатюристы".) В школах побеждали то одни, то другие, велись настоящие войны с таким же оружием, как у взрослых, но без убийств, происходили перевороты, восстания и революции, в результате которых у власти в школах оказывались то "миниатюристы", то "детфашисты". Главным "миниатюристом" был, конечно, двенадцатилетний Саша Суворов (к тринадцатилетнему возрасту я почему-то относился весьма сложно, хотя и не сказать, что чисто негативно, и даже как-то стеснялся себя, пока мне самому было тринадцать; четырнадцать - уже многовато, на самой границе взрослости, как мне казалось; поэтому я остановил рост главного героя

детского варианта своей сказки на двенадцати годах). Главными противниками Саши Суворова - главными "детфашистами" - было реальное детское начальство, с которым я всегда был в более чем сложных отношениях: такие "должностные лица", как председатель совета отряда, комсорг и их заместители - звеньевые, члены бюро... Словом, формальные лидеры, выбираемые не столько ребятами, сколько взрослыми. В одном юношеском сочинении я презрительно именовал их "так называемыми активистами". От этих "активистов" я претерпел достаточно, особенно в школе слепых.

-----

Александр Васильевич Суворов (во взрослом варианте "большой сказки") и Саша Суворов (в детском варианте) - оба бессмертные благодаря подвижному анабиозу, и поэтому оба, особенно первый - универсальные гении (за бесконечную-то жизнь есть время всё узнать и всему научиться). В Александре Васильевиче, по существу, я персонифицировал всё человечество. Он воплощал в себе коммунистическую тенденцию истории, и потому был коммунистом и марксистом-ленинцем за тысячи лет до Маркса и Ленина. (Подобно Готаме Будде в книге Натальи Рокотовой "Основы буддизма", которую, впрочем, я смог прочитать только осенью 1997 года, через компьютер.) Как воплощённая тенденция, он был другом и соратником самых передовых и революционных деятелей в любую эпоху. В древней Греции он беседовал с Антисфеном (автором, насколько знаю, первого антирабовладельческого трактата, обнаруженного при археологических раскопках), в Древнем Риме был одним из ближайших сподвижников Спартака, в России он сражался на стороне Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева; в Германии он помогал Томасу Мюнцеру, во Франции - Бабёфу и, разумеется, Парижским Коммунарам. (Сейчас к руководителю "Заговора Справедливых" Гракху Бабёфу у меня резко отрицательное отношение под влиянием критики Маркса в "Экономическо-философских рукописях 1844 года", к самому Марксу и особенно к Ленину - весьма неоднозначное. Но из песни слова не выкинешь. Напоминаю, что расцвет моей "Большой сказки" пришёлся на шестидесятые годы XX века, и выбираемая Суворовым "сторона баррикад" заранее была предопределена советским пантеоном.) Для всех названных до скобок исторических деятелей мой взрослый Суворов был загадочным, знающим будущее помощником, и только Марксу, Энгельсу и Ленину помогал как рядовой член их партий, иногда выполняя и их непосредственные поручения. Величайший деятель и в искусстве, и в науке, и в технике, военный и политический гений, он был прежде всего революционером,

защитником и полководцем "униженных и оскорблённых". Ничто меня так не волновало и не захватывало в мои школьные да и университетские годы, как борьба за справедливость, и поэтому мои любимые герои почти постоянно выступали в роли борцов за неё. У взрослого Суворова ещё бывали перерывы в борьбе, когда он занимался то строительством, то вождением транспорта, то путешествиями (как Пржевальский, о котором я мало что знал, зато любил больше всех других путешественников только потому, что он умер на моей географической родине, в Кыргызстане, где одним из областных центров долгое время - не знаю, как сейчас, - был город Пржевальск). В борьбе Суворова-младшего не было ни отдыха, ни срока. И это понятно: ведь Суворов-младший сводил во вселенском масштабе мои личные счёты, а Суворов-старший - общечеловеческие. Отсюда и повышенная драчливость младшего, компенсирующая физическую слабость, антиспортивность и неумение драться - у меня реального.

Пожалуй, это были два разных воплощения моего ДЕТСКОГО идеала личности. Одно - наиболее полное, но и самое далёкое, недостижимое, - в Суворове-старшем. Суворов-старший был таким, каким бы я хотел стать, когда вырасту. А младший получился таким, каким бы я хотел быть уже сейчас: добрым, справедливым, но беспощадным и непримиримым к любым проявлениям детской жестокости, от которой я очень страдал на самом деле, особенно в школе слепых. Считая себя жертвой несправедливости и прямой жестокости, я, видимо, поэтому-то и стал - а что важнее всего, остался на всю жизнь, - горячим поборником справедливости и гуманизма как её наиболее полного осуществления (гуманизм я тогда отождествлял, естественно, с коммунизмом). Равнодушное обывательское: "Не будет коммунизма, враки всё это, сказочки для детей", - я воспринимал как личное оскорбление. И едва ли не главной в моём духовном становлении была разработка личной аргументации, - конечно, путём овладения всеобщей аргументацией, прежде всего, под влиянием Ивана Антоновича Ефремова (в отрочестве) и Эвальда Васильевича Ильенкова (в юности), исторической и философской, - против этого ненавистного мне, кровно меня лично задевающего и оскорбляющего, обывательского пессимизма.

Оптимистом я, правда, был чрезмерным. Я ничуть не чурался экспорта революции, - впрочем, предпочитал не открытое военное вторжение в ту или иную страну, на ту или иную планету, а участие в подпольном революционном движении внутри этой страны (планеты). Коммунизм стал для меня личной мечтой, так же как он был личной мечтой для Николая Островского. И читая рассказ Островского о том, как он грезил Мировой революцией, причём не в детстве, а в зрелом

возрасте, будучи уже признанным писателем, - я в его фантазиях нахожу удивительно много общего со своими детскими. Поэтому позволю себе выписку.

-----

"Т(регуб). - О чём ты мечтаешь?

"О(стровский). - Таких вопросов нельзя задавать. Это значит залезать руками в сердце человека. Ты требуешь самого дорогого, самого большого. Это страшный вопрос.

"Всех своих мечтаний я не выразил бы и в десяти томах.

"Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью. Трудно сказать о чём. Это не одна тупая мечта, которая возвращается каждый день, из месяца в месяц. Это меняется снова и снова, как восход и закат солнца.

И я не могу ответить конкретно. Мечта для меня одна из самых чудесных зарядок. Я трачу массу энергии и тоже разряжаюсь, как аккумулятор. И вот надо найти источники, которые бы мобилизовали на работу...

"Моя мечта, самая фантастическая, всегда остаётся жизненной, земной. Никогда не мечтаю о невозможном.

"Как ни странно, мечта о мировой революции - глубочайшая моя мечта. Когда мне очень сложно, очень тяжело, является потребность в фантастике.

"Последние дни я уношусь в Испанию. Я представляю себя там на площади могучим оратором, способным своим словом увлечь всех за собой. Мы организуем наступление, громим врага, сбрасываем его в море. И вот народ свободен, необычное торжество и радость победы. Я вижу лица бойцов, женщин, цветы, ликование. Это чудесные сказки жизни, которые не могут быть записаны, но которые необычно увлекательны.

"Или вижу себя рядовым испанских войск и необыкновенно ярко представляю себе, как я убиваю Франко. Вчера я проснулся ночью, не спал часа полтора и строил планы, как взять дредноут у восставших. Я был в подпольной организации дредноута и вёл работу по организации восстания, до мельчайших подробностей предусмотрено было всё. Мы жажнули по офицерью - и дредноут наш...

"Нет страны, которую бы не захватила моя мечта. Умножить силы моей страны, нашей республики - вот основное. Никогда я так не страдаю за неё, как в мечтах.

"Если бы взять все миллиарды у капиталистов, все силы техники, всё, что лежит у них неподвижным грузом, если взять к нам их рабочих, голодных, изнурённых, доведённых до предела нищеты и страданий, дать им работу, жизнь. Я вижу пароход, на котором едут к нам эти рабочие, чувствую радость встречи и вижу народ счастливый, свободный.

"Мечты определённы, иногда доходят до абсурда.

"А Польша? Добраться до власти каким бы то ни было

путём (стать хоть президентом), в один день передать её рабочим. Польша становится советской республикой. Торжественные митинги, я выступаю, подписываем договор, и на границе ни одного солдата, и всё заканчивается победным шествием.

"Часто начинается вспышкой где-то в уголке мозга, а потом разворачивается в грандиозное и победоносное движение.

"Эти мечты дают мне так много.

"Вопросы личного - любовь и женщины, - занимают мало места в моих мечтах. Ведь человек сам с собой не лжёт. Для меня большего счастья, чем счастье бойца, нет. Всё личное не вечно и не в таком огромном плане, как общественное. Но быть не последним бойцом (а я обязан быть командиром, я никогда в своих мечтах не бываю механическим исполнителем) в борьбе за прекраснейшее счастье человечества - вот почётнейшая задача и цель.

"Я никогда не смогу записать этого, нельзя передать такие чудные, волнующие мысли.

"Иногда я мечтаю о миллиардах золота, которыми владею почему-то. Может быть, я получил их по наследству. Может быть, я сын Моргана. Но я коммунист и моя задача - переправить золото в СССР. Я дохожу до безумия, изобретая тончайшие способы переправки, заключаю с ними договор, обязуюсь платить проценты, которые платить не буду, создаю необычайные комбинации и ухищрения и привожу золото к нам. Или путём чрезвычайно сложным я добиваюсь того, что одна из дочерей миллиардера становится моей женой, и я увожу её с золотом в СССР. А тут посылаю к чёрту, если она не может стать нашей.

"Все мечты в одном направлении. В индивидуальном у меня мало радости". (Н. Островский. Собрание сочинений в трёх томах. Том второй. М., "Молодая гвардия", 1974. Взято из "(О романе "Рождённые бурей)"). Беседа с заведующим отделом литературы и искусства газеты "Комсомольская правда" С.А.Трегубом".)

-----

Здесь очень много принципиально общего с моей детской "большой сказкой". На первом месте в содержании фантазий Островского была мировая революция, а у меня - вселенская. В своих "чудных сказках жизни" он не чурался даже экспорта революции (как он сам говорит, "абсурда"), участвуя в революционном подполье и революционных войнах, захватывая власть и тут же передавая её рабочим в полной уверенности, что рабочие её возьмут и распорядятся ею на благо всему трудовому народу, - словом, так или иначе, хотя бы обманом, экспроприируя экспроприаторов с тем, чтобы на экспроприированные богатства осчастливить всё трудовое

человечество. У меня средства достижения цели были не столь разнообразны (в основном мои герои участвовали в революционном подполье и революционных войнах в качестве их руководителей), но сама цель была та же самая. Общие у нас и враги. Во взрослом варианте "большой сказки" я предпочитал воевать с белогвардейцами и фашистами. В детском варианте воевал с хулиганами и особенно с карьеристами, которые для взрослых были "активными общественниками" и стражами порядка в детских коллективах, а для рядовых членов этих коллективов - сущими изуверами.

Из песни слова не выкинешь. Песня моей детской игры, моя "большая сказка", была о революции и коммунизме. Если вообще можно одним словом ответить на вопрос, во что я играл, то этот ответ будет: в революцию. Всё остальное служило орнаментом, было не более чем подробностями, художественными деталями. Я рос наивным революционным романтиком, искренним до фанатизма, до духовной и душевной слепоты и глухоты, как это вообще свойственно всякому фанатизму.

Но, повторяю, из песни слова не выкинешь. Если я пропущу рассказ об основном содержании "большой сказки", то весь анализ моего детского развития теряет смысл. Становится непонятно, откуда я взялся такой, как есть. Я рос, очарованный романами Ивана Антоновича Ефремова; мужал, изучая работы Эвальда Васильевича Ильенкова, а после них, под их влиянием - и другую доступную мне философскую классику. Я перестал быть наивным революционным романтиком, став убеждённым гуманистом. Умный поймёт - и не осудит, а исправление своей детской истории задним числом, кроме всего прочего, было бы обыкновенной трусостью.

Для Островского его фантазии были "одной из самых чудесных зарядок", отдыхом от художественно-литературного творчества, мобилизацией сил для него. Тренировка воображения, зарядка для воображения. У меня "большая сказка" предшествовала творчеству, а затем долгое время - до конца учёбы в университете, то есть до двадцатичетырёхлетнего возраста - сопутствовала ему. "Большая сказка" была той питательной средой, в которой зарождалось моё мировоззрение, - и вообще моя личность.

Итак, фантазировать - нужно. И притом на как можно более высоком эстетическом уровне. Я убеждён, что высокий уровень фантазирования, высокий уровень воображения доступен каждому. Норма, по Ильенкову, - это вершина развития, а не самый распространённый уровень недоразвития. Хорошие писатели демонстрируют в общем-то всем доступную норму развития воображения, а никакую не "сверхнорму". "Сверхнорма" - это вредная выдумка, оправдывающая лень и

выгодная только лентяям.

Сравнение своих фантазий с фантазиями профессиональных писателей - это изучение нормы, равнение на норму, проверка себя нормой. Считая равнение на норму нескромностью, мы рискуем поспособствовать НЕДОРАЗВИТИЮ до нормы, в данном случае - недоразвитию воображения. Нет и не может быть ничего зазорного в сравнении себя с самыми лучшими людьми за всю историю человечества, хоть с Христом или Буддой, Спинозой или Гегелем, Пушкиным или Толстым, - лишь бы целью этого сравнения было стать немного лучше, приблизиться к заданной в качестве образа, идеала, персонифицированной в конкретных личностях - норме, а не похвастаться похожестью на "великого", тем, что "можем мы и сами шевелить усами". А рассуждать о "сверхнорме", в священном трепете вопрошая: "Это же гений, а я кто?" - недостойно человека, унижительно.

-----

Разумеется, высокая культура фантазирования должна формироваться, или - если повезёт на умных взрослых людей - воспитываться. (Имеется в виду, что формирование - стихийный процесс, а воспитание - сознательный.) Но могут спросить, и часто спрашивают: а зачем вообще воспитывать, культивировать фантазию? Не приведёт ли развитие фантазии к отрыву от реальности, к тому, что ребёнок предпочтёт придуманный мир реальному? Отрицательному ответу на этот вопрос посвящается раздел "Борьба за сказку" книги К.И. Чуковского "От двух до пяти". Глава, проникнутая гневом против педагогов, боровшихся со сказкой, и болью за детей, искалеченных бессказочным детством.

Мысли, высказанные К.И. Чуковским в беспощадной полемике с шарлатанами от психологии и педагогики, имеют непосредственное отношение к теме данной работы. Поэтому позволю себе несколько выписок.

"А мать, видя, что он буквально купается в сказке, как в море, всячески оберегала его, чтоб он не осквернился **НАПЕЧАТАННОЙ СКАЗКОЙ**.

"Как будто есть какая-нибудь принципиальная разница между той сказкой, которую сочиняет ребёнок, и той, которую сочинил для него народ или великий писатель! Ведь всё равно, дадите вы ему эту сказку или нет, - он сам себе сказочник, сам себе Андерсен, Гримм и Ершов, ведь всякая его игра есть драматизированная сказка, которую он тут же творит для себя, одушевляя по желанию все предметы, превращая любую табуретку в поезд, в дом, в аэроплан, в верблюда.

"...Не только игры, но и самые простые разговоры малолетних ребят свидетельствуют, что сказочное восприятие мира для них обыденная норма:

"- А будильник никогда не спит?"

"- А чулку от иголки не больно?

"И вот этого-то профессионального сказочника мы всячески оберегаем от сказки, которой он дышит, как воздухом.

"...Почему же педологи наши сделали слово "фантазия" ругательным? Во имя чего они вытравляли его из психики малых ребят? Во имя реализма? Но реализмы бывают различные. Бывает реализм Бэкона, Гоголя, Менделеева, Репина, а бывает тупорылый реализм лабазника, реализм самоваров, тараканов и гривеников.

"Об этом ли реализме мы должны хлопотать? И не кажется ли нам, что его подлинное имя - мещанство? ...

"...Оберегая младенцев от народных песен, небывальщин и сказок, эти люди едва ли догадываются о мещанской сущности своего практицизма. Между тем самый взгляд их на каждую детскую книгу, как на нечто такое, что должно немедленно, сию же минуту принести видимую, осязаемую пользу, словно это гвоздь или хомут, обнаруживает мелкость и узость их мещанственной мысли. Все они страшно боятся фантастики, между тем они-то и есть фантазеры, метафизики, мистики, совершенно оторванные от действительной жизни. Их вымыслы о зловредности сказок есть самая безумная волшебная сказка, не считающаяся ни с какими конкретными фактами. Это единственная сказка, с которой нам нужно бороться, - сказка отсталых педагогов о сказке.

"И мы говорим этим фантастам и мистикам: бросьте фантазировать, сойдите на землю, будьте реалистами, всмотритесь в подлинные факты действительности - и вы перестанете дрожать перед Мальчиком-С-Пальчиком и Котом В Сапогах. Вы увидите, что с определённого возраста сказка выветривается из ребёнка, как дым, что все волшебства и чародейства размагничиваются для него сами собой (если он только находится в здоровой среде), и у него начинается период жестокого разоблачения сказки:

"- А как же снегурочка могла дышать, если у неё не было лёгких?

"- Как могла Баба-Яга носиться по воздуху в ступе, если в ступе не было пропеллера?

"Сказка сделала своё дело: помогла ребёнку ориентироваться в окружающем мире, обогатила его духовную жизнь, заставила его почувствовать себя бесстрашным участником воображаемых битв за справедливость, за добро, за свободу, и теперь, когда надобность в ней миновала, ребёнок сам разрушает её." (К.И. Чуковский. "От двух до пяти." Детгиз. М., 1957, Раздел "Борьба за сказку", глава "Акулов не бывает".)

"Нет, объекты симпатий ребёнка с течением времени будут

меняться не раз. Сегодня - одни, завтра - другие. Поэтому сказочники - и в первую голову народные сказочники - не слишком-то бывают озабочены выбором этих объектов, установлением их вреда или пользы. Цель сказочников, повторяю, иная. Она заключается в том, чтобы какою угодно ценой воспитать у ребёнка человечность - эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою. Сказочники хлопочут о том, чтобы ребёнок с ранних лет научился мысленно участвовать в жизни воображаемых людей и зверей и вырвался бы этим путём за узкие рамки эгоцентрических мыслей и чувств. А так как при слушании сказки ребёнку свойственно становиться на сторону добрых, мужественных, несправедливо обиженных, будет ли это Иван-Царевич, или Зайчик-побегайчик, или Муха-цокотуха, или Бесстрашный Комар, или просто "Деревяшечка в зыбочке", - вся наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность СО-переживать, СО-страдать и СО-радоваться, без которой человек - не человек. Только эта способность, привитая с самого раннего детства и доведённая в процессе развития до высочайшего уровня, создавала и будет впредь создавать Бестужевых, Пироговых, Некрасовых, Чеховых, Горьких..." (Там же. Глава "Обывательские методы критики".)

К.И. Чуковский упоминает педологов. Как я впервые услышал от Бориса Михайловича Бим-Бада ещё в "эпоху Застоя", педология вообще-то - это просто наука о детстве. Наука очень нужная и ничуть не виноватая в том, что от её имени, как и от имени всякой науки, иной раз вещают шарлатаны. Крупнейшие советские детские психологи - Л.С. Выготский и Д.б. Эльконин - были в своё время педологами. И вписали каждый свою ярчайшую страницу, даже главу, в науку о детях.

К.И. Чуковский, конечно, воюет не с ними. Он воюет с теми, кто, как иные нынешние "практические психологи", за тестами, методиками, всевозможными модными концепциями подчас не видит и не хочет видеть живого человека. Психологически оно и понятно - так легче.

Я ни в коем случае не против тестов, методик и концепций, как самых модных, так и старых. Просто к ним стоит относиться критически. А именно, стоит почаще задаваться вопросом Иисуса Христа: "Суббота для Человека - или Человек для Субботы?" Человек уникален, неповторим, ни в какой стандарт всё равно не влезет. Без стандартных показателей и стандартных методов работы не обойтись - окажешься в открытом океане без руля и без ветрил, но и слишком доверяться всем на свете существующим стандартам небезопасно - некий неизвестный или просто неучтённый фактор

может сбить с толку, исказить маршрут.

Но главное - это трактовка К.И.Чуковским сказки как школы человечности. В этом главном пункте я к нему полностью присоединяюсь. И должен сказать, что при всём "милитаризме" моей "большой сказки" она сыграла для меня ту самую роль, которую, по К.И.Чуковскому, и должна была сыграть. Придумывая бесконечные социальные катаклизмы по образу и подобию уже известных мне по книгам действительных исторических событий, я учился, как ни странно, человечности. Мне всегда дорога и близка была идея борьбы за справедливость, за лучшее будущее, лучшую жизнь сегодняшних униженных и оскорблённых, одним из коих, кстати, я с детства себя чувствовал и осознавал.

(Подчеркиваю: эта униженность и оскорблённость НЕ БЫЛА связана со слепоглухотой САМОЙ ПО СЕБЕ. Страдать из-за слепоглухоты я начал примерно с шестнадцати лет, а до тех пор она мне САМА ПО СЕБЕ НИЧУТЬ НЕ МЕШАЛА.)

И в своей "большой сказке" я неизменно вёл и, как правило, возглавлял борьбу за справедливость. Эту борьбу вели и возглавляли мои любимые герои так, как бы мне самому хотелось её вести и возглавлять. Только будучи взрослым я узнал, как бессовестно можно спекулировать на этой идее борьбы за справедливость. Узнал на собственном горьком опыте, а осмыслил с помощью книг, в том числе прочитанных задолго до приобретения горького опыта. И я стал осторожно относиться ко всем выступающим от имени этой идеи, одновременно претендующим на личную непогрешимость, норовящим "осчастливить" окружающих своим представлением о "справедливости". На том стою. Ведь поверить в чью бы то ни было непогрешимость, безупречность - значит сделать РЕШАЮЩИЙ ШАГ на пути к "фюрерству", или, по-русски, "вождизму". Со всеми вытекающими из "фюрерства" расистско-фашистскими последствиями.

Я понял, что слишком часто "борются за правду", лишь бы на самом деле не жить по правде. А лучшая борьба за правду - это именно жизнь по правде, собственное соответствие правде. Вопросы о том, в чём же именно заключается правда, касаться не будем, - предположим, вопреки действительности, что это всем понятно. Но если исходить из этого предположения, - что главный вопрос, в чём именно правда, наконец-то разрешён, - то остаётся только жить по этой наконец-то обрётённой, понятной правде. Жить, естественно, прежде всего самому, а не ограничиваться призывами к другим. И тогда станет очевидно, что если вообще оправдана какая бы то ни было "революция", то разве только совершаемая в собственном образе жизни...

Я где-то читал пересказ рассказа И.Ильфа и Е.Петрова.

Какой-то парень вскочил на уличную тумбу и провозгласил кампанию борьбы за подметание улиц. "Борьба ведётся, улицы не подметаются", - запомнилась мне ключевая фраза. Вот так - сплошь да рядом - и с борьбой за правду, человечность и тому подобной "борьбой"... Надо жить по правде, надо быть человечным, не откладывая соответствующий образ жизни до "победы в борьбе".

-----

Но я всё ещё почти ничего не сказал о "большой сказке" именно как о сказке, то есть о её фантастике. Я лишь мимоходом коснулся этой темы, говоря о личном бессмертии главных героев. Теперь, когда, надеюсь, дано понять об основном содержании "Большой сказки", можно наконец рассказать и о её фантастике. Под фантастикой в данном случае понимаю всё, что в процессе игры мне удалось придумать несуществующего и невозможного.

Как и многие другие дети (насколько, разумеется, могу судить), я был одержим гигантоманией. Видимо, вообще преувеличивать - это самый простой и удобный способ добиться фантастического эффекта. В.В.Маяковский смеялся над гигантоманией в "Стихотворении о мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе":

"Что это такое?" -

Спрашивает с тоскою

Машинистка.

Ну, что отвечу ей?!

Чёрт его знает, что это такое,

Если сзади

У него

Тридцать семь нулей!

Недавно уверяла одна дура,

Что у неё

Тридцать девять тысяч семь сотых температура.

Так привыкли к таким числам,

Что меньше сажени числа и не мыслим.

И нам,

Если мы на митинге ревём,

Рамки арифметики,

Разумеется,

'Узки, -

Всё разрешаем в масштабе мировом.

В крайнем случае -

Масштаб общерусский.

У меня "в крайнем случае" были вселенские масштабы (в пределах "Нашей Вселенной"), а так - всекосмические (включая "Большую Вселенную" за пределами "Нашей"; впрочем, об этом научном различии, конечно, я в детстве ничего не знал).

В то же время я был очень педантичен в деталях. Например, я никогда не видел перечисления войсковых единиц с указанием численности каждой единицы - от отделения до фронта. Всё, что я знал об этом, взято было путём сопоставления из многих художественных книг, особенно о Великой Отечественной Войне. Я подолгу занимался довольно сложными расчётами, определяя для себя численность воинских соединений и подразделений. Эти расчёты производились только в уме - на бумаге я ничего для "большой сказки" не делал. (Правда, однажды попробовал пофантазировать за машинкой, тем самым превратив игру в творчество, - очень быстро надоело). Рассчитывая численность войсковых единиц, я составил для себя такую таблицу:

- Отделение - до 10 человек;
- Взвод - до 40 человек;
- Рота - 150 - 160 человек;
- Батальон - 600 - 625 человек;
- Полк - 2 500 человек;
- Бригада - 5 000 человек;
- Дивизия - 10 000 человек;
- Корпус - 20 000 человек;
- Армия - 40 000 человек;
- Фронт - 160 000 человек.

Эта таблица, как я надеялся, примерно соответствовала действительности. Впрочем, уже в 1999 году при чтении "Ледокола" и "Дня "М"" Виктора Суворова пришлось убедиться, что реальная структура Советской Армии в период второй мировой войны была куда более сложной и гибкой. Мой же детский педантизм, при вселенском размахе военных действий в "большой сказке", привёл к тому, что мне понадобились войсковые единицы крупнее даже фронта. Так появились "фронткорпуса" - по два фронта, и "фронтармии" - по пять фронтов, один из которых отдельный. Пять фронтов, а не четыре, то есть 800 000 человек, а не 640 000, - для простоты расчётов за пределами миллионов, ибо и "фронтармий", разумеется, могло быть до нескольких десятков.

С оружием было то же самое: "шло в ход" любое, от самого древнего до самого современного. Конечно, я был наслышан об атомных бомбах, но знал только, что это какое-то очень страшное оружие, самое страшное, а до какой степени - не подозревал. Я представлял себе атомные бомбы такими же болванками, как те ядра, которыми стреляли из первых пушек (эти пушки я не раз видел в музеях), только побольше размером и весом. Помню, когда мне было не то восемь, не то девять лет, я придумывал, как мои вояки долбят этими болванками - "атомными бомбами" в моём тогдашнем представлении - какую-то крепостную стену. Причём долбят

безуспешно, штурм крепости не удаётся.

Но где-то именно в восемь или девять лет я придумал нечто такое, что могло бы поспорить по своей разрушительной силе с настоящим атомным оружием. Назвал я эту штуку "к'уртником". Вообще-то "куртник" образовался от слова "кур'ок", но "к'урник" звучало как-то нелепо, несолидно, вот я и добавил в название оружия звук "т", не заметив, конечно, ассоциации с "курткой".

Этот "куртник" представлялся мне обыкновенным игрушечным пистолетом, стреляющим не пулями, а электрическими разрядами. Сила этих разрядов была такова, что жертва подвергалась мгновенной кремации, - пеплом становились даже кости. (Связана эта кошмарная выдумка, видимо, с тем, что мне как минимум дважды пришлось участвовать вместе с мамой в похоронах убитых током молодых парней, и много раз, заслышав траурный марш и выскочив к похоронной процессии, на вопрос о причине смерти я получал ответ: убило током.)

"Куртник" имел три ступени мощности. На первой "враги" истреблялись поодиночке сравнительно небольшими по силе и дальности смертельной дистанции разрядами (сейчас я сравнил бы их с шаровыми молниями). На второй ступени мощности истреблялась вражеская техника, в том числе и авиация, разрядами средней мощности, которые я называл "куртракетами". А на третьей ступени мощности "куртник" стрелял "куртмолниями", длина которых и дальность поражения цели ничем не ограничивалась. (Я и сейчас могу видеть молнии во время ночной грозы.) Такая "куртмолния" могла испепелить всё что угодно на прямой линии, равной её длине, - хотя бы многотысячекилометровой.

Об электрической природе своего "курторужия" я долгое время не подозревал. Поэтому силу, испепеляющую всё на своём пути, я называл "куртогнём". Испепелив что-либо, этот "куртогонь" ещё долго был опасен. Для танков, например, в "большой сказке" выжигались ямы, совершенно незаметные по причине заполнявшего их пепла. Но в этом пепле таился "куртогонь", и, как только танк въезжал в такую яму, он испепелялся. Вспышка - и только пепел на этом месте.

Впрочем, как есть мирный атом, так был в моей "большой сказке" и мирный "куртогонь". "Куртники" пускались в ход, когда надо было построить железнодорожный или ещё какой туннель. "Куртниками" пробивались и скважины для добычи нефти, и всякие другие дырки. "Куртмолнии" для этого не годились, ибо, выпущенные из ствола, они должны были разворачиваться в стороны, - "по фронту". Поэтому в таких случаях применялись "курткилинья". Уж не помню, как я обезвреживал образующийся при этом пепел, в котором,

согласно моим прежним выдумкам, "куртогонь" как бы аккумуляруется. Скорее всего, для мирных целей был тут же придуман особый, безопасный "куртогонь". Так же, как в случае с анабиозом. А может быть, по аналогии с тушением пожаров это всё промывалось хорошей струёй из брандспойта...

Моё детство проходило на колёсах. В надежде вернуть мне зрение мама возила меня даже в Одессу. Мне было неполных восемь лет, когда поднялся в космос Ю.А.Гагарин. Поезда будоражили моё воображение. Будоражили его и разговоры о космических полётах. В общем, ничего удивительного, что транспорт занял в моей "большой сказке" очень заметное место.

Сначала я придумывал путешествия на всех известных мне видах таратаек. Герои мои не брезговали верховой ездой и телегами, но предпочитали, конечно, железную дорогу, автомобили и самолёты, а потом ракеты. Но мне не всегда удавалось убедительно - конечно, для себя - мотивировать в сюжете смену одного транспорта другим. Надоест автомобиль, а как пересадить героя в лодку или теплоход, в поезд или на самолёт - не знаю. Этим, видимо, и объясняется появление в "большой сказке" универсального транспорта, способного передвигаться по земле, по воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. Ещё не зная слова "амфибия", я назвал эти штуки "судомашинами" ("машина" - наземный транспорт, поскольку ассоциировалась только с автомобилями; "судно", "суда" - водный, да и воздушный). Проблема пересадок сразу отпала сама собой.

Как всегда, придумав что-то новое, я старался по возможности разработать это в деталях. Так случилось и с "судомашинами".

Детали эти, впрочем, обычно относились не к устройству той или иной штуки ("судомшины" или "куртника"), а лишь к тому, как этой штукой пользоваться, что с ней можно делать. У "судомшины" можно было убирать и выставлять колёса. Очень подробно были рассмотрены возможности руля: он щелкал, как в троллейбусе (я слышал щелчки при движении троллейбуса, особенно когда он менял режим работы: останавливался, трогался, поворачивался), и не только вертелся руль вправо-влево, но и опускался или поднимался. Управлялась "судомашина" только рулём. Потянешь руль вверх до щелчка - поднимаешься, не двигаясь ни назад, ни вперёд, а только вертикально вверх; начнешь нажимать на горизонтальный руль вниз - будешь опускаться. Потянешь руль на себя - поедешь вперёд, а если от себя, то сначала затормозишь до полной остановки, а потом двинешься назад. Если едешь вперёд и потянешь руль кверху, то, продолжая двигаться вперёд, устремись по наклонной вверх; нажимая на руль, будешь

опускаться по наклонной; каким-то образом руль обеспечивал ускорение хоть до миллиона, хоть до триллиона километров в секунду. Световой предел скорости меня не смущал: сначала потому, что я ничего о нём не знал, а потом потому, что, подобно всем другим фантастам, не пожелал с ним считаться. Обзор окружающего пространства осуществлялся из кабины управления по телевизору, причём на много километров в любую сторону. Расстояние указывалось на специальных шкалах под экраном. Телевизоры были сначала обычные, а потом - "брайлевские": изображение можно было ощупать руками, а потом прочесть, какое до изображенного предмета расстояние.

Пожалуй, рулём не управлялись, кроме телевизоров, только колёса. Они убирались и выставлялись нажатием специальной кнопки. Впрочем, были "судомшины" вообще без колёс, скользившие по земле с помощью специальной смазки.

"Судомшины" были необычайно разнообразны - от маленьких "судомотоциклов" до громадных многоэтажных "судопоездов". В "судопоездах" были комфортабельные купе, как в обычных железнодорожных поездах, но просторнее и удобнее. Купе были четырехместные, но каждая полка отгораживалась раздвижной перегородкой, так что соседи по купе не могли помешать спать. Окон не было, а для любителей смотреть наружу были те же телевизоры, что и в кабине управления, - как обычные, так и "брайлевские". Чтобы не задохнуться от недостатка воздуха при задвинутых перегородках, была предусмотрена индивидуальная вентиляция (вроде охлаждающей секции в мягких купированных и спальнях вагонов).

Проявляя большую заботу о транспорте, я не мог не озаботиться и дорожным строительством. Я знал, конечно, что "...труд этот... - страшно громаден, не по плечу одному" (Некрасов), но мои герои с ним справлялись в одиночку, и притом в рекордно короткие сроки. Ясное дело, что без фантастической техники было не обойтись.

Магистралю у меня были универсальными - и для автотранспорта, и для поездов, и для кораблей. Они были шестиполосные. В середине - две полосы для движения автотранспорта, - каждая в свою сторону. По бокам - железнодорожные колеи: желобки в асфальте, залитые сталью (очевидно, по аналогии с трамвайными путями). По краям в асфальтовых берегах - не широкие, но очень глубокие каналы, пропускающие даже океанские корабли.

Всё это великолепие строилось довольно просто. Чтобы построить канал, надо было сесть в обыкновенную моторную лодку, снабжённую "землережом". Александр Васильевич, например, строил громадный Урало-волжский канал (в порядке отдыха от революционных и полководческих своих трудов). Он

направил свою моторку к западному берегу Урала, включил "землерез" - и берег начал отодвигаться с той же скоростью, с какой двигалась моторка. Радиус и глубину действия "землереза" можно было менять, фиксируя нужные. Урало-волжский канал был десятикилометровой ширины и стометровой глубины. Александр Васильевич устанавливал пятикилометровый радиус и стометровую глубину действия "землереза" - и плыл себе в своё удовольствие, почитывая книжки и ловя рыбу. Правда, увлечшись, иногда забывал вовремя проверить, где уже строится канал, и однажды проснулся, лишь услышав по радио отчаянные вопли: оказывается, чуть не утопил попавшийся на пути городок. Ну ничего, свернул вовремя, и городок остался на полуострове, к радости земноводной в летнюю пору ребятни. (Откуда бралось такое неисчерпаемое количество воды, меня, само собой, не заботило.)

Каналы ещё удавалось строить в одиночку, а вот шоссе и железные дороги требовали всё же строительных бригад, хотя и небольших. Одна машина разравнивает трассу передними механизмами, а задними уже заливает её асфальтом. Другая машина разглаживает асфальт и тут же охлаждает его (среди моих игрушек был заводной трактор-каток для разглаживания асфальта, а что асфальт должен остыть и затвердеть, я узнал в восемь или девять лет, когда около маминой работы асфальтировали улицу). По соседству трудятся машины, строящие железную дорогу: одна разравнивает трассу, а на месте будущей колеи прорезает канавки, тут же всё заливая асфальтом; за ней двигается машина, придающая канавкам правильную форму желобков, разглаживающая и охлаждающая асфальт. Дальше - машина, заливающая уже асфальтированные желобки сталью, а за ней ещё одна, эту сталь охлаждающая. Эти залитые сталью желобки - вместо рельсов: я не понимал, как поезда не сходят с рельс, а из желобков не выскочишь, да и нет стыков, а значит, колёса не стучат.

Наконец, в "большой сказке" были свои волшебные палочки. Называл я их "фабриками" - от слова "фабриковать". Это были маленькие модели всех существующих машин, такие крохотные, что в кармане их можно было уместить столько же, сколько кедровых орешков. Нажмешь малозаметную кнопку - и "фабрика" разрастётся до нормальных размеров, а затем производит на свет точную свою копию, да ещё с такой же "фабрикой" внутри. Таким образом, вещи сами себя воспроизводили в любом нужном количестве, причём любые вещи, даже продукты питания. Эта выдумка устраняла неудобный вопрос, где повстанческие войска брали оружие, продовольствие, одежду, обувь и прочее.

Я рассказал лишь о самых необычных, и потому оставшихся в памяти, своих выдумках. Было ещё множество эпизодических, не проходивших через всю "большую сказку", а рождавшихся и остававшихся где-то на случайных зигзагах сюжета, и поэтому забытых или помнящихся смутно. Все эти выдумки сочетались как угодно, широко применялись для разрешения всевозможных сюжетных проблем, давали такой фантастический эффект, по сравнению с которым фантастика обычных сказок, не говоря уже о фантастике известных мне детских игр, казалась весьма скромной, чуть ли не примитивной. С фантастикой моей "большой сказки" успешно конкурировала только научная фантастика, и то смотря какая. Больше всего меня захватывала фантастика романа И.А.Ефремова "Туманность Андромеды", а позже - его же "Сердца Змеи" и особенно "Часа быка". "Час Быка" и сейчас остаётся одной из любимейших мною книг.

Вообще приключенческая и научная фантастика всегда казалась мне сказочнее классических фольклорных и литературных, на фольклоре строящихся, сказок. Нужно сделать немалый перерыв, чтобы не заскучать над "Царевной-лягушкой" и "Аленьким Цветочком" после фантастических повестей Кира Булычева. Фантастика же И.А.Ефремова, при всей своей безудержной смелости, ещё и удивительно реалистична, в смысле почему-то очень глубокой читательской убеждённости, что всё это вполне может осуществиться в будущем. сколь угодно отдалённом. Такого рода реалистическую фантастику я как-то сразу предпочел заведомо невозможной, которой никогда не было и нет, но никогда и быть не может "взаправду". Это предпочтение объясняется, видимо, тем, что я всегда хотел быть участником осуществления, реального воплощения сказок. Вообще, стремление самому быть волшебником стало едва ли не самой фундаментальной, в основе всех основ лежащей чертой моей личности.

#### 4. ДЕЛЬТА "БОЛЬШОЙ СКАЗКИ"

Как известно, дельта - это когда река при впадении в море растекается, разделяется на множество речек, проток и даже ручьев. Такая судьба постигла и мою "большую сказку" при её впадении в жизнь.

Можно, пожалуй, уверенно сказать, что моё саморазвитие, самостановление как личности происходило в форме "большой сказки". Моя игра, как и всякая детская игра, если ей дали как следует развиваться, была в смысле становления моей личности в высшей степени результативной деятельностью. Но для меня, как и для всех, игра была самоценной деятельностью, крайне интересной и очень важной самой по себе. Её результативность была хотя и закономерной, но, естественно, совсем непреднамеренной, "нечаянной", и оценить

эту результативность я могу только теперь, много лет спустя. Иными словами, игра ("большая сказка") была главным содержанием, центром внутреннего мира моей личности. Благодаря игре, ради игры этот мир вообще возник и развивался.

Но количество, как известно, рано или поздно переходит в качество, а следствие отрицает свою причину. Наступил момент, когда мой внутренний мир перерос рамки игры и подчинил её себе. Я стал жить не для того, чтобы интереснее, увлечённее играть, а играть для того, чтобы жить было ещё интереснее, или хотя бы не скучно. Словом, игра из цели стала средством.

Игра не просто заглохла, а из цели (и - наряду с чтением - формы) душевной жизни стала её, душевной жизни, средством. И не потому, что появились более интересные формы и цели душевной жизни, а как раз потому, что их не было, что жизнь без игры была очень, прямо-таки невыносимо скучной.

Прежде всего, было бы скучно учиться. Я уже выше заметил, что наизусть изучал доступные мне географические карты не из интереса к географии самой по себе, а потому, что с опорой на карты было интересней играть, то есть фантазировать. Карты, проще говоря, стали моими любимыми игрушками.

Скучно было вообще на всех уроках, даже на уроках истории, учебниками по которой я зачитывался, как самыми захватывающими сказками (и именно из учебников по истории, а ещё больше из исторических рассказов, повестей, романов брал я материал для взрослого варианта "большой сказки"). Но этим скучным делом - учёбой - хочешь не хочешь, а заниматься приходилось. Разумеется, мне, как и всем школьникам, внушали, что учёба - моя главная работа, моя первая конституционная обязанность перед обществом. Да только не видел я никогда ребёнка, который делал бы что-то исключительно потому, что он что бы то ни было перед кем бы то ни было обязан делать. Сам я тоже никогда не был таким "сознательным". И я тайком играл прямо на уроках. Эта игра была возможна только как обыгрывание учебных предметов.

(Правда, любимая моя учительница, Валентина Сергеевна Гусева, призналась мне, уже готовящемуся в университет, что могла бы увлечь меня своими - математическими - предметами, но сознательно не делала этого, боясь окончательно "засушить" и без того уже суховатый в ту пору мой характер, боясь отвлечь меня от уже вспыхнувшего увлечения стихотворчеством. Это мудрое подчинение учебных задач воспитательным стало для меня теперь недостижимым образцом педагогического мастерства.)

По русскому языку приходилось выполнять множество

упражнений. Само по себе это в порядочной степени нудное занятие. Я назначил сам себе норму, - столько-то упражнений в день, - и так работать было веселее. Такой же "производственный элемент" внес я и в выполнение заданий по математике. Было интересно преодолевать себя, выполняя назначенную самому себе норму, воображая при этом опять же что-то военизированное.

Очень скучно было делать булавки. (Производством булавок старшие воспитанники детдома для слепоглухонемых зарабатывали себе карманные деньги и пенсии по инвалидности. Согласно тогдашнему законодательству, ребёнок-инвалид должен был иметь хотя бы год трудового стажа (при первой группе инвалидности) или два года (при второй группе), чтобы получить право на пенсию по инвалидности. Вот этот "трудо­вой стаж" мы на булавках и зарабатывали.) Вообще-то я всячески уклонялся от этой нуднейшей работы, но если деваться от неё совсем было некуда, я утешался за станком какими-то фантазиями, содержание которых совершенно забыл. Помню только сам факт.

А очистку снега я просто любил благодаря фантазиям, которыми её сопровождал. Если снега долго не было и дорожки были чистые, я начинал пробивать туннели и ущелья в сугробах, и это было куда увлекательнее, чем просто расчищать пути сообщения на детдомовском дворе.

Мама мне часто говорила в шутку: "Ты от скуки - на все руки". Пожалуй, правильнее было бы сказать, что я от скуки - на все игры, то есть, виноват, на все сказки. Даже давно опротивевшее домино уже в студенческую пору вдруг снова меня увлекло. Я играл с самим собой, сделав, пожалуй, только одно отступление от правил - упразднил запасной фонд. У каждой стороны было поэтому четырнадцать костяшек. Если у одной из сторон не было нужной костяшки, ей приходилось пропускать ход. Результат был совершенно неуправляем, а именно это-то меня и привлекало. Очки после каждого тура игры считались как обычно, но это уже были никакие не очки, а потерянные одной стороной и захваченные другой области страны, в которой было не менее ста областей; из них столичная, если сто областей - 51-я, если двести - 101-я и т.д. Таких стран две, они друг с другом в состоянии войны, и побеждает та, которая целиком завоюет другую. Если одна из сторон выигрывает несколько раз подряд - это наступление. Если один раз при сплошных неудачах - контрудар; если не поймёшь, кто кого, чересполосица, - встречные бои. В общем, сказка, сама себя сочиняющая по определённым правилам.

Наконец, "большая сказка" обернулась просто фантастическим оформлением моих повседневных забот. Сочинялась она теперь только на сон грядущий. Фантастику

диктовала сама обыгрываемая ситуация. Это была по-прежнему уже привычная мне война, но с тем, что мне действительно мешало жить и работать, нередко мешает и до сих пор, - с "расклейкой".

С "расклейкой" я познакомился, по крайней мере осознал её, в студенческие годы. Это - донельзя противное состояние безразличия ко всему, общей апатии, иногда такой сильной, что не хочется даже читать (это мне-то, привыкшему читать круглые сутки, не могущему без книг, как без воздуха, даже в гости берущему с собой книжку). С "расклейкой" пришлось действительно сражаться, упорно, стиснув зубы, сквозь любые "не хочу" и "не могу", преодолевая её, заставляя себя работать даже тогда, когда от этой работы тошнит уже просто физически, - тошнота постепенно проходила, я "разрабатывался" так, как постепенно "расходится" утром хронически усталый, невысыпающийся человек. Да "расклейка", очевидно, и есть проявление той самой хронической усталости, постоянно возобновляющейся, порой давящей почти до невменяемости, до того, что становишься игрушкой собственных случайных настроений. Но все эти состояния - мои личные подробности. Нечего над ними трястись, тем более, капитулировать перед ними, как перед каким-то неминуемым и неизбывным роком. Уступать, безвольно предаваться "расклейке" нельзя, ибо дело идёт буквально о жизни и смерти, о самом существовании моей личности. А когда наступила уже общественная, духовная смерть, когда погибла личность, - тогда существование и функционирование человеческого организма бессмысленно, просто не нужно. Словом, вопрос стоит так: быть или не быть активным членом общества, то есть личностью, то есть человеком вообще.

В борьбе с "расклейкой" за сохранение моей личности помогала мне и "большая сказка". По вечерам, точнее по ночам, прежде чем уснуть, я представлял себе, как мой враг, генерал Апатьев (от слова "апатия"), подводит итоги прожитого мною дня. Если мне удаётся хорошо поработать и много сделать, генерал беснуется, как Гитлер после Сталинграда или Курска, разгоняет весь свой штаб, срывает погоны со всех подвернувшихся под горячую руку штабистов. Если день проходит тускло, вяло, бездарно, если даже ничего не читал, - генерал Апатьев доволен, награждает своих победоносных вояк, произносит хвастливые речи. У Суворова же озабоченность, сдержанная, без лишних эмоций, деловитость, идут совещания, обсуждаются проекты и принимаются решения, как исправить ситуацию на том или ином "театре военных действий" (на научно-творческом, научно-учебном, литературно-творческом, читательском...). Никакой паники, никакой кутерьмы, суровое спокойствие и суровый юмор в

трудную минуту. Ну, а если переходит в наступление союзник Апатьева, генерал Болезнов (когда грипп или что похуже, вроде травмы позвоночника или сильного ожога), - тогда лозунг: "Все силы на разгром Болезнова!" Но главный враг, каждый день, каждую минуту - Апатьев. Так в "большой сказке" формировалась у меня способность к самоконтролю, к разумному, рациональному самоуправлению. И, помогая мне решать эту задачу, тем самым окончательно сложиться как личности, сама "большая сказка" постепенно замирала, тускнела, всё реже сочинялась, - уходила в прошлое.

## 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 0

Простейшее уподобление по типу "всё на всё похоже" и "всё вместо всего" сенсорно нормальным детям известно с очень раннего возраста.

Слепоглухие дети в подавляющем большинстве своём слишком хорошо знают, что собака, а тем более дверь или галстук, не разговаривает, что вообще сказка - сплошная неправда, а обманывать нехорошо.

К.И. Чуковский говорит, что с определённого возраста сказку беспощадно критикуют и сенсорно нормальные дети. Но то-то и оно, что у них эта критика начинается не раньше, чем сказка сделает своё дело, то есть, по К.И. Чуковскому, научит их человечности, или хотя бы даст понять о существовании и самой возможности человечности.

У слепоглухих ребят сказка своего дела не делает и делать не может, потому что у них, обычно, как раз тот случай, когда детство - бессказочно. Со всеми вытекающими из этой бессказочности (или безигорности, - это всё равно) катастрофическими последствиями для самостановления личности. Вообще мир этих ребят до предела примитивен, им известно крайне мало, и поэтому им не с чем играть, не из чего делать сказку.

Думаю, нет смысла повторять массу попутных обобщений, сделанных мною в процессе анализа моей "большой сказки" (на протяжении всего данного текста). Но мне ясно, что мой случай - это случай такого безудержного разгула фантазии, какой наверняка не часто встречается и у зрячеслышащих детей. Я тащил в сказку и преобразовывал в сказке буквально всё из своей "реальной жизни", переделывая эту "реальность", борясь за устранение всех её "несовершенств".

При этом очень важно, что я не отделял своей "реальности" от общечеловеческой. Откуда взялся такой глобальный "коллективизм", такое отождествление себя с человечеством? Моя личная "реальность" могла бы быть скорее противопоставлена "реальности" других людей, и особенно детей, а значит, я скорее должен был противопоставить себя

человечеству, чем отождествлять себя с ним. Ведь моя реальность всегда, сколько себя помню, полным-полна всевозможными конфликтами.

Ясно, что тут шуточки диалектики развития. И состояли эти шуточки, возможно, в том, что, зажатый тисками неведомых мне противоречий сам, я интересовался другими противоречиями, любыми другими конфликтами, а особенно общечеловеческими, и не стеснялся сравнивать свои маленькие конфликты с другими, сколь угодно большими, находя немало общего. В итоге свои конфликты если не осознавались, то ощущались как часть всеобщих. Ощущались очень рано.

Помнится, я был ещё во втором классе школы слепых, когда по какому-то случаю затряс грандиозный скандал, рвался домой, к маме, и, сидя на ступеньках крыльца изолятора в окружении ребят и педагогов, сквозь рыдания объяснял пришедшему успокаивать меня директору школы:

- Я бунт'овщик!

Ударение я ставил почему-то именно на втором слоге. Ума не приложу, где я в то время мог вычитать это слово, - скорее всего в "Миколке-Паровозе". На вопрос же директора школы, против чего "бунт", я, к величайшему собственному удивлению, ничего не сумел ответить. Сыр-бор загорелся из-за какого-то пустяка, явно недостойного столь героической - "бунтарской" - позы, и, обнаружив (не иначе с незамеченной сгоряча помощью директора) такое вопиющее несоответствие, я как-то быстро увял, стушевался.

Я никогда не видел ничего плохого в том, чтобы в чём-то (не во всём, а именно в чём-то) сравнивать себя хотя бы с самым "великим" из "великих", хоть с Господом Богом, - лишь бы по-честному, а не из бахвальства, - и уж подавно не считал себя виноватым, если в результате сравнения обнаруживалось какое-то сходство. Конечно, иногда от многочисленных знакомых слышал обвинение в нескромности. Но что такое нескромность? То самое бахвальство, хвастовство. Но разве ради бахвальства, чтобы "облыжно" (по выражению Ленина) и самого себя похвалить, я сравниваю себя с "великими"? Ни в коем разе. Значит, обвинения вздорные. Значит, меня ни за что ни про что обижают этим вздором. Почему обижают? Только потому, что сами боятся таких сравнений, а боятся, потому что ждут за это таких же вздорных упреков. И я как-то рано пришёл к чёткому пониманию того, что "честные" сравнения себя с великими на самом деле не вредны, а полезны, и те, кто вопит о "нескромности", просто не знают, что сравнивать себя с великими можно честно. Да и в конце концов, совсем нечестно у них получается. Рассказывая, например, как учился Ленин, говорили: "Дети, учитесь как Володя Ульянов, на одни

пятёрки!" А попробуй сравнить, так ли в самом деле учишься, как Володя Ульянов, и если не так, то почему, - сразу паника, вопли о "нескромности". Нет, совсем глупые эти взрослые! Или обманщики.

И почему, собственно, нельзя сравнивать? Потому, говорят, что ты не Пушкин, у тебя не такие возможности, как у Пушкина, ты не можешь того, что мог Пушкин. Согласен, не могу сейчас, но почему никогда не смогу в будущем? Смеются: "Ты что, Пушкин?" Конечно, нет, но чем, в конце концов, я хуже Пушкина? Это даже обидно. И потом, когда Пушкин был маленький, ему тоже, наверное, говорили: "Ты что, тот... великий?" (О Державине я ещё не знал, как и о дяде Пушкина, Василии Львовиче, который в одном стихотворении, не иначе метя в племянника, изображал совещание на Олимпе по поводу надоевших Олимпийцам од одного юного рифмоплета; кто-то из богов интересуется, сколько лет "пииту", и, услышав, что пятнадцать, переспрашивает с удивлением: "Пятнадцать только лет?" Ему отвечают: "Не более того". "Так розгами его!" - распоряжается Бог.) И если бы Пушкин послушался тех, кто запрещал ему сравнивать себя с великими, мы бы о нём ничего сейчас не ведали. Нечего было бы ведать.

Нет, честное слово. Чётко помню, что уже в тринадцать лет, бегая взад-вперёд по детдомовскому коридору, я мысленно, хотя вслух, в течение нескольких дней яростно громил тезис юных обывателей: "Не по нашим возможностям!" И в результате разработал такое чёткое и простое доказательство нелепости этого тезиса, что и сейчас мало что могу к нему добавить. "Не по нашим возможностям"? Допустим. Но откуда вы знаете свои возможности? Каким прибором вы их измерили? Существует только один "прибор" для этого - недостижимая, запредельная цель. Вернее, цель, кажущаяся недостижимой. Поставьте перед собой такую цель, и честно работайте, пытаясь её всё-таки достичь. Вдруг - неожиданно, паче чаяния, - удалось, казалось бы, невозможное. Это просто значит, что вы себя недооценили. Ставьте ещё более дерзкую цель. Если же вы её не достигли, то ваши возможности равны той части задуманного, которая сделана. Позже я добавил к этому только тезис о непостоянстве возможностей, о том, что в процессе развития (например, учёбы) возможности растут, и невозможное сейчас может оказаться возможным завтра. То есть моя позиция по этому вопросу, вполне сложившаяся уже к тринадцати годам, со временем стала ещё более радикальной. Ещё более непримиримой. И такой остаётся. И навсегда останется.

А вопрос о возможностях важнейший. От ответа на него зависит мировоззрение человека. Зависит весь образ его жизни, - обывательский, ленивый, трусливый, при случае (с

разрешения начальства или втайне от него) подлый; или - гордо-творческий, деятельный, мужественный, когда человек ко всем "уродствам" реальности относится просто как к проблемам, ещё не решённым, но в их решении он сам участвует, более того, без его участия они не могут быть решены. Я давным-давно выбрал этот последний образ жизни. И призывы "не лезть" в ту или иную "катавасию", уклоняться от участия в решении тех или иных острых, конфликтами чреватых и конфликтами проявляющихся проблем, тихо-мирно заниматься "своим делом", - такие призывы долгое время вызывали у меня, в лучшем случае, недоумение. Я не мог совместить эти призывы с "активной жизненной позицией". Ведь это призыв не к чему другому, как к смене "активной жизненной позиции" на позицию обывателя, отлично выраженную знаменитой формулой: "Я не я, ничего не знаю, моя хата с краю".

Не отрекаясь от "активной жизненной позиции", я всё же пересмотрел своё отношение к "борьбе за правду". Я решил, что моя "жизненная позиция" ничуть не станет менее "активной", если я, отказавшись от "борьбы за правду", предпочту ЖИТЬ по СВОЕЙ ПРАВДЕ, ИСКАТЬ СВОЮ ПРАВДУ. Я понял, что немедленной самоперестройки в соответствии со СВОЕЙ ПРАВДОЙ, со СВОИМ ИДЕАЛОМ, не стоит откладывать до "окончательной победы" над всевозможными "врагами правды". Слишком уж велик риск "отложить" жизнь по правде и поиск правды - навсегда...

"Активную жизненную позицию" я почувствовал и сформировал у себя как личную именно в процессе игры, в процессе придумывания мною "большой сказки". Этот результат, определивший моё мировоззрение и всю мою личность, как и всякий результат настоящей (самоценной по своей мотивации) игры - стихийный, бессознательный, одним словом - нечаянный, но от того не менее ценный. И без игры, вне игры этот результат, похоже, не может быть получен. Во всяком случае, вряд ли когда кому удавалось получить его без игры, без сказки, благодаря одному только "труду", выполняемому с физиономией, старательно вытянутой для-ради пущей серьёзности горе-педагогами. "Серьёзно и скромно! А если предмет смеется?" - спрашивал молодой Маркс, издеваясь над новой цензурной инструкцией, "либерально" разрешавшей печатать любое произведение, лишь бы оно было "серьёзно и скромно". Маркс показывал, что требование "серьёзности и скромности" ставит вне закона всякую живую мысль. Так вот, не труд без игры, не труд взамен и против игры (как "дело" взамен и против "безделья"), а труд в теснейшем союзе с игрой, труд, возникший и окрепший на основе игры, в процессе игры, труд, как игра, веселый и увлекательный именно своей необходимостью, именно тем, что "надо", а не только

"хочется", вместе с "хочется", а не без, не против "хочется".

И кто это выдумал, что стирать, мыть полы, даже чистить унитаза всегда противно, что этот труд всегда вынужденный ("хочешь не хочешь - надо")?.. В данном случае, наверное, цель действительно оправдывает средства. Если это всё, например, ради любимого существа, то такой труд тоже может быть радостным. Правда, любовь должна быть действительно беззаветной. Но разве не так любит мать своего младенца? Ещё сильнее!

(Моя мама перенесла инсульт, стала полупарализованной, и помыться могла только стоя под душем, - из ванны её трудно было вытащить, а сама и вовсе не могла выбраться. Пока мы жили вдвоём, кроме меня, помочь ей было некому. Между тем ей нужно было принимать ванны, чтобы полупарализованные левые руку и ногу хоть ненадолго почувствовать "своими", а то они обычно "мёрзли", "деревенели", словом - ощущались как "не свои". И мне доставляло настоящее наслаждение купать маму в пихтовой пене, усаживая её на специальное сиденье в ванне, а потом помогая встать, одевая и обсушивая феном. Я при этом был полон нежности и сочувствия, и очень радовался, когда мама хвалилась после этой процедуры хорошим самочувствием и почти что молилась: "Дай бог тебе здоровья, что ты меня на руках носишь!" - целуя пальцы на той моей руке (левой), которой я выслушивал все эти дифирамбы.)

Для большинства загорских ребят единственно возможной перспективой считается простейший труд на производстве, тупое "зарабатывание на жизнь", при ужасающей пустоте этой самой "жизни", на которую зачем-то надо "зарабатывать". Никаких книг, никакого содержательного общения; развлечения - домино, в лучшем случае - шахматы. Вряд ли возможно более убедительное, чем это поистине жалкое существование (а никакая не жизнь!), доказательство того, к какой безысходной, действительно слепоглухонемой, взрослости, приводит бессказочное, то есть без-игорное детство. И если дети, фантазируя, отказываются, бывает, от "реальности", предпочитают ей свои фантазии, то вовсе не потому, что фантазия "чрезмерно" развита, и надо бить в набат и вызывать детского психиатра, - а потому, что уж очень бедна, тускла их реальность, и ещё потому, что фантазируют дети плохо, неумело, примитивно, уходя от реальности в фантастику, в вымысел, вместо того чтобы с помощью фантазии осознать, осмыслить реальность, разобраться в ней и попробовать её изменить, если она плоха. Только обыватель молится на "реальность", какова бы она ни была, и поэтому восстаёт на фантазию, тоже - какова бы она ни была.

От вялой, грезящей маниловской фантазии надо лечить не

сованием в нос той самой, до последней степени скучной, как загаженный скотный двор, "реальности", от которой как раз с помощью такой фантазии и отворачиваются брезгливо, - а фантазией культурной, активной, мускулистой, безудержно смелой, творческой, ибо с её помощью творят реальность по образу и подобию самой "невероятной" мечты. Надо учить фантазировать, а не чураться фантазии, как ханжа нечистой силы. Учить фантазировать так, как это умели все великие деятели - творцы - культуры. Фантазировать на уровне мастерства, творчества мира в соответствии с его собственной логикой, с его собственной мерой, и потому - как это понял Маркс ещё в 1844 году, - строго по законам красоты, на высшем эстетическом уровне.

Эрих Фромм в третьей части книги "Иметь или Быть?", защищая право на существование социальной утопии, своё право разрабатывать очередную такую утопию, предлагает отличать деятельных, реальных утопистов от "утопистов" мнимых, которых он так и называет "грезящими". Он указывает на множество примеров реализованных утопий: звукозапись, телеграфная, радио- и телевизионная связь, железнодорожное, автомобильное и воздушное сообщение, космические полёты, искусственные спутники Земли, Луны, Венеры, компьютеры... Всё это когда-то казалось невозможным - и всё реализовано.

И он считает, что если бы на реализацию социальных проектов были брошены такие же интеллектуальные силы, как и на реализацию проектов технических, общество наше могло бы быть уже иным, куда более разумным, гуманным, демократическим, чем сейчас. В этом он вторит В.И.Вернадскому, который тоже считал возможным в ближайшем будущем решить проблему искусственного питания, если бы на это было брошено столько же людских и всяких иных ресурсов, как и на вооружение.

Как учить фантазировать? Ну, очевидно, раскрепостить свою собственную фантазию, фантазировать вместе с ребёнком, ибо фантазии может научить только фантазия, как юмору - только юмор. Может быть, играть сначала со старшими ребятами, потом со средними и, наконец, с малышами, потому что, как мне кажется, с самыми маленькими фантазировать (играть) всего труднее именно из-за предельной, изначальной простоты всего им доступного. А во что играть, о чём фантазировать? Да, как я это делал в детстве, - ни во что и во всё сразу. Сначала сочинять отдельные сюжеты, а потом попробовать свести их в один, - в "большую сказку". Потому что "большая сказка", при всей её содержательной единичности, уникальности в каждом личном варианте, мне представляется всеобщей, то есть наиболее полно развитой, формой игры. К воспитанию этой формы и надо стремиться.

Содержание же может быть любым. Лишь бы это содержание было привлекательно и увлекательно для ребёнка. И лишь бы ребёнок в своём воображении, в своей игре способствовал торжеству добра, а не зла. И не надо слишком уж пытаться конкретизировать детские представления о добре и зле. Всё конкретизирует процесс роста, формирования мировоззрения. Играющему же ребёнку, в сущности, достаточно знать, что добро - это хорошо, а зло - это плохо, и надо стараться неизменно делать так, чтобы было хорошо, а не плохо. Конкретизация же представлений о добре и зле, о том, что такое хорошо и что такое плохо - процесс пожизненный и для отдельного человека, и для всего человечества.

Вот и не будем навязывать ребёнку того, чего сами не знаем, - этической истины в последней инстанции.

Что же касается методик совместного фантазирования взрослых и детей, то тут я умолкаю, смиренно склоняя голову перед великим итальянским сказочником Джани Родари, который развил неисчерпаемое методическое богатство в своей книге "Грамматика Фантазии". Мне всю оставшуюся жизнь по этой книге - учиться, учиться и ещё раз учиться...

18 мая 1986 - 18 января 2002